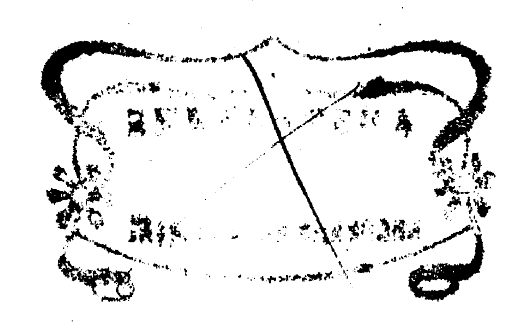
ЗАПИСИ ПРОШЛОГО

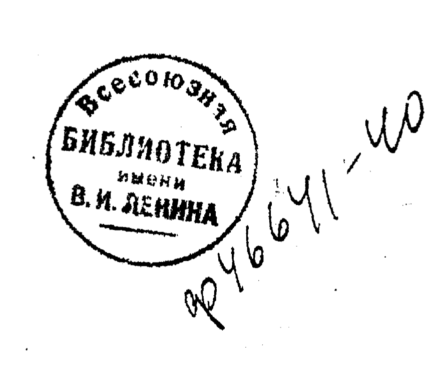
ВОСПОМИНАНИЯ И ПИСЬМА

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

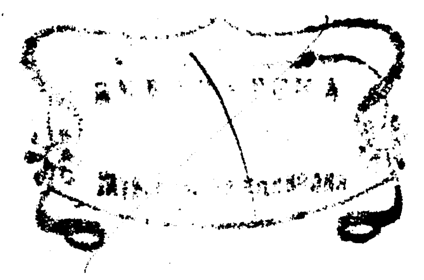
М. А. ЦЯВЛОВСКОГО



1932


Всесоюзная
БИБЛИОТЕКА
имени
В. И. ЛЕНИНА


2005347823



ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ

В настоящем выпуске «Записей Прошлого» печатается VII глава Воспоминаний Б. Н. Чичерина, посвященная путешествию автора по Европе в 1858—1861 гг. Она заполняет собой перерыв между двумя уже ранее вышедшими в свет частями Воспоминаний Б. Н. Чичерина под заглавиями «Москва сороковых годов. 1845—1857 гг.» и «Московский университет. 1861—1868 гг.». Все три выпуска составляют единое целое, характеризующее тот период в жизни автора, который был связан с Московским университетом и с началом его ученой карьеры.

В дальнейших выпусках «Записей Прошлого» предполагается дать следующие и последние пять глав воспоминаний: «Жизнь в провинции», «Конец царствования Александра II», «Начало нового царствования», «Служба московским городским головой» и «Старость». Они охватят общественную деятельность автора.

Примечания, не оговоренные особо, принадлежат редакции. Незначительные купюры (в письмах Э. Ф. Раден), допущенные редакцией, отмечены в тексте многоточием в прямых скобках. Приводимые автором французские письма и цитаты печатаются в русском переводе, исполненном Е. В. Герье, причем письма Пасси и Тьера прилагаются в конце книги в французском оригинале. Указатель имен составлен Н. П. Чулковым.

Комментарием к путешествию Б. Н. Чичерина могут служить его письма к Л. Н. Толстому, опубликованные Н. П. Мендельсоном в Трудах Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. «Письма Толстого и к Толстому». М.—Л. 1928. По ним можно установить даты путешествия.

ВОСПОМИНАНИЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ГРАНИЦУ

В настоящее время путешествие за границу дело самое обыкновенное. При легкости и удобстве сообщений, едва ли найдется сколько-нибудь образованный человек, который бы не объехал почти всю Европу. Многие делали это даже по нескольку раз. Не то было в прежние времена, когда железные дороги еще не существовали, а русское правительство, особенно с 1848 года, делало всякие затруднения подданному, дерзающему преступить священные пределы отечества. В ту пору путешествие в чужие края было событием в жизни. На путешественника смотрели, как на человека вкусившего высших плодов просвещения. Его с любопытством расспрашивали обо всем виденном и слышанном. Рассказам не было конца.

Во время Восточной войны сношения с чужими краями сделались еще затруднительнее. Но с новым царствованием и с заключением мира, все препятствия разом исчезли. Двери отворились настежь, и вся Россия ринулась за границу. Я последовал общему течению. Это был целый новый мир, который открывался передо мною, мир, полный прелести и поэзии, представлявший осуществление всех моих идеалов. Чудеса природы и искусства, образованный быт стран, далеко опередивших нас на пути просвещения, наука и свобода, люди и вещи — все это я жаждал видеть своими глазами; я хотел насытиться новыми, свежими впечатлениями, представляющими человеческую жизнь в ее высшем цвете.

Ближайшею моею целью был Турин, где брат Василий состоял тогда первым секретарем посольства. Я не видал его два года, и это был, вместе с тем, случай взглянуть на верхнюю Италию и на политическое движение в Пиэмонте [1], который сделался уже центром национальных стремлений итальянского народа. Туда я направился через Варшаву и Вену. До Варшавы не было

[1] Пиэмонт—подножие горы, область сев.-зап. Италии перед объединением ее входившая в состав Сардинского Королевства.

еще железной дороги, и я тащился шесть суток в дилижансе, в компании с старой и вовсе не интересной генеральшей, которой единственная приятная сторона состояла в том, что она кормила меня разными явствами [1]. Из Варшавы железная дорога перенесла меня в 24 часа в Вену.

Здесь я получил первое сильное впечатление от заграничной поездки. Это впечатление произвел не город, который, несмотря на свою красоту, ничем особенно не отличается от всяких больших городов в европейском вкусе и напоминал мне Петербург. Прекрасные здания, отличная мостовая, великолепный Пратер [2], господствующие повсюду законченность и чистота, к которым мы в России не привыкли, все это мне нравилось, но ничего не говорило уму. Впечатление произвело на меня первое знакомство с основательным немецким ученым. Случайно, на железной дороге, я разговорился с ехавшим со мною стариком, который сказал мне, что у него есть сын в Венском университете и дал мне к нему карточку. Я отправился к этому молодому человеку, а тот повел меня к Лоренцу Штейну. Около часу провел я у последнего в увлекательной беседе об общих научных вопросах, в особенности о недавно появившемся его учении об обществе. Я был совершенно очарован. После этого я отправился к нему на лекцию и по его приглашению повторял свои посещения. Мы с ним с первого раза сблизились, и впоследствии, всякий раз как я бывал в Вене, я обыкновенно вечера проводил у него в самых приятных и поучительных разговорах. Это не был тип чисто кабинетного немецкого ученого, тип, впрочем, весьма почтенный и интересный. Штейн, при большой живости ума, отличался замечательным разнообразием сведений и вкусов. Он был и философ, и юрист, и политико-эконом: он вел практические промышленные и финансовые предприятия, знал жизнь и людей. К этому присоединялись художественные наклонности: у него была весьма недурная картинная галлерея. Тут я в первый раз почувствовал, что такое истинно-научная атмосфера, в которой живут люди, и которая побуждает их смотреть на вопросы спокойно и просто, видеть в них не дело партии или повод к ожесточенным препирательствам, а предмет серьезного объективного исследования. Я узнал человека самостоятельно работающего для науки, владеющего всеми ее средствами, открывающего в ней новые горизонты, но чуждого вся-

---

[1] О своем путешествии от Москвы до Варшавы в обществе г-жи Лошкаревой, вдовы ген.-лейт. и сенатора Григ. Серг. Лошкарева (1788—1849), Б. Н. Чичерин рассказывает подробно и с большим юмором в письме к Л. Н. Толстому из Варшавы от 2 мая 1858 г. (Труды Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Письма Толстого и к Толстому, стр. 267—270).

[2] Главная улица в Вене

кой заносчивости, всякого шарлатанства и самохвальства. Самые ошибки являлись у него не плодом легкомыслия, хватающего верхушки, а результатом добросовестно обдуманной, хотя и недостаточно обследованной, мысли. Вместо рьяных споров, служивших только поприщем для бесплодной гимнастики ума, тут является возможность спокойного обмена мыслей, из которого выносишь полное умственное удовлетворение. После беседы с Штейном мне еще живее представилась вся пустота недавних наших прений с славянофилами, которые, едва прикоснувшись к западной науке, осуждали ее, как гниль, а себя считали глашатаями новых, неведомых миру истин.

Под конец жизни Штейн свихнулся. Практические его предприятия повели к тому, что он сначала приобрел порядочное состояние, а затем разорился. Имение его было продано с молотка. Вместо того, чтобы приписать это, как следовало, своей нерасчетливости или несчастному стечению обстоятельств, он, по немецкой привычке, возвел это в общий экономический закон и стал уверять, что поземельная собственность, вообще, непременно ведет к разорению. Несколько социалистические наклонности, которые были у него в молодости, но совершенно отпали в зрелых летах, снова выплыли под влиянием жизненных неудач, и он стал проповедывать идеи уже вовсе ненаучного свойства, которым он авторитетом своего имени давал вес и значение, тем самым поддерживая хаотическое брожение умов в современной Германии. В эту последнюю пору его жизни я его уже не видал, а потому сохранил о нем те воспоминания, которые я вынес из лучшей эпохи ученой его деятельности. Он скончался недавно [1].

В Вене я пробыл несколько дней и затем двинулся далее, через Венецию в Милан. Тут я испытал полное очарование. Вся дорога представляла для меня ряд совершенно новых, поразительных впечатлений. Проведя всю свою жизнь в убогой русской степи, я никогда не видал ни моря, ни скал. Здесь то и другое явилось мне в неведомом дотоле величии. Даже сидя в вагоне железной дороги, который менее всего благоприятствует впечатлениям природы, я не мог насмотреться на величественный переезд через Земмеринг и на прелестную долину Савы. Ночью я слез в Триесте на пароход, но уже ранним утром я был на палубе и тут меня впервые поразил вид гладкого, как зеркало, моря при восхождении солнца. Я весь погрузился в созерцание этой сияющей бесконечности. Было тихое и теплое майское утро; на небе не виднелось ни единого облачка. Пароход шел быстро; вот уже издали показались очертания земли. Наконец, перед нами пред-

[1] Л. фон-Штейн умер в 1890 г.

стала, как бы выходящая из моря, облитая весенним солнцем Венеция, с ее мраморными дворцами, с её изящною архитектурою, то с стрельчатыми окнами, подобно готическим храмам, то с легкими колоннами и арками времен Возрождения. Мы пристали к площади св. Марка, и я, взявши нумер в гостинице, тотчас побежал осматривать церковь и дворец. Это были минуты полного упоения. Я чувствовал себя как бы вынесенным вон из современной жизни и перенесенным на крыльях в область поэзии и искусства. Впервые архитектура произвела на меня обаятельное действие. Я долго стоял очарованный на внутреннем дворе дворца дожей, и не мог налюбоваться на удивительно тонкие и изящные украшения стен и на прелестные линии Лестницы Гигантов. И как-будто для оживления картины около цистерны собрались, с ведрами на плечах, молодые, красивые, грациозные венецианки в их национальном наряде. Я вошел в дворец, и тут передо мною в живых образах воскресла вся история Венеции: я видел пышно убранные комнаты с тяжело изваянными золочеными потолками, где заседали Большой совет и мрачный Совет десяти; на стенах изображались выигранные сражения, торжество победителей, старые дожи в их блестящих одеждах, венецианские сенаторы в их пурпурных мантиях, с их строгими и важными лицами. Такое же чарующее впечатление произвела на меня и венецианская живопись в Академии Художеств: «Вознесение Богородицы» Тициана, мадонны Беллини, Тинторетто, Веронезе, вся эта своеобразная пышность красок и образов. Венецианская школа в Венеции представляет не просто картинную галлерею, более или менее полную и богатую. Она составляет необходимое дополнение к самой Венеции, художественное изображение всего ее прежнего блеска и величия. И собор св. Марка, и дворцы, и каналы, и рассеянные по церквам и собранные в Академии картины старых живописцев, все это сливалось для меня в одно цельное, художественное впечатление, которое охватывало душу с тем большею силою, что оно являлось как бы тенью прошедшего, в резком контрасте с навевающим грусть настоящим. При захождении солнца я плыл по каналам и видел по обоим берегам пустынные дворцы, многие с заколоченными окнами; повсюду следы небрежности и разрушения. В большом городе царило безмолвие. Бесшумно скользящие по водам гондолы представлялись как-бы тенями, которые боялись нарушить эту торжественную тишину. Самая собиравшаяся по вечерам толпа на площади св. Марка двигалась безмолвно и уныло. И, как сторож этого кладбища, на внешней галлерее дворца дожей стоял австрийский пикет. На всем лежала печать какой-то печальной и величавой поэзии. У меня

от всех этих ощущений закружилась голова. Несмотря на природную наклонность к живописи, я вовсе не был приготовлен к пониманию искусства. До тех пор я, в сущности, ничего не видал, а тут внезапно обрушился на меня целый мир изящных впечатлений в какой-то ослепительной роскоши, в таком изумительном разнообразии и богатстве, среди которых я совершенно терялся.

Через три дня я уехал и остановился в Милане, чтобы посмотреть на собор. И тут я получил одно из тех впечатлений, которые никогда не забываются. Осмотревши внутренность храма с ее массивными белыми столбами и стрельчатыми сводами, освещенными таинственным полусветом, я взобрался на крышу и пошел бродить среди целого леса стройных, изящно изваянных мраморных стрелок, любуясь кружевными узорами колокольни; и вдруг, на этой высоте, откуда взор беспрестанно простирался во все стороны, передо мной открылась вся цепь покрытых снегом альпийских гор, которых белые вершины ярко блестели на глубоко прозрачной лазури безоблачного южного неба. Это было зрелище поразительное и возвышающее душу. И природа, и искусство, все соединялось для того, чтобы унести ее в какой-то волшебный мир, полный чарующей красоты.

Наконец, я добрался до Турина, где меня встретил брат. После долгой разлуки, увидеться с ним было для меня сердечным удовольствием. Мы всегда жили с ним в тесной дружбе. Его ровный и спокойный характер, его общительный нрав, его мягкие и изящные светские формы, а с тем вместе высокий нравственный строй и отсутствие всяких претензий, делали его чрезвычайно приятным, как в домашней жизни, так и в общественных отношениях. Я на чужбине почувствовал себя вновь как-бы в своей семье. Брат тотчас представил меня нашему посланнику при Сардинском дворе, графу Штакельбергу, с которым он находился в самых дружеских отношениях, и с которым скоро породнился, женившись на его племяннице. Это был человек не отменного ума, но рыцарски благородного характера, старый военный, чрезвычайно живой, приветливый, общительный, с поэтическими наклонностями. Он очень недурно писал французские стихи. От него осталась даже целая поэма, под заглавием: Сильвия, с поэтическим описанием итальянской природы и романтической любви. Несмотря на свое остзейское происхождение и иностранное воспитание, он был патриот, любил говорить по-русски и в особенности щеголял знанием разных народных пословиц и поговорок, которые он, однако, обыкновенно перевирал. Это была маленькая смешная сторона в его возвышенной и симпатичной натуре. В Турине он пользовался общим уважением. Жена его, француженка, очень

неглупая, сдержанная, привлекательной красоты, царила в салоне, в котором часто собирались дипломаты.

Брат ввел меня и в дипломатический клуб, самое скучное собрание людей, какое я встречал в своей жизни. Говорю это не о туринском обществе, а вообще. После этого я во многих местах видел сборища дипломатов, и везде они производили на меня одно и то же впечатление. Я приписывал это самому их положению. Дипломат — человек, отрешившийся от живых интересов родного края и не примкнувший к другим, остающийся все-таки чуждым стране, в которой он случайно находится по своим служебным обязанностям. Всякая почвенная связь у него порвана; жизненное содержание исчезло, а взамен того приобретен светский лоск и умение говорить прилично о всяких пустяках. Невольно дипломат заражается салонными взглядами, самыми поверхностными и неверными из всех. К этому присоединяется то, что по самому своему положению он принужден избегать серьезных разговоров. Он не может высказывать откровенно свою мысль, а должен постоянно держать себя настороже, чтобы не проронить лишнего слова. В особенности, когда собраны вместе представители разных держав, имеющих совершенно различные дипломатические интересы, всякий живой вопрос по необходимости устраняется, и все ограничивается обменом поверхностных замечаний о светских пустяках. И это не искупается даже тем согревающим элементом, который вносят простые, домашние, дружеские связи в светское общество, имеющее местные корни. Случайно сходящиеся люди, облеченные бронею дипломатической чопорности и светского приличия, соприкасаются чисто внешними своими сторонами, не имея между собою ничего общего. На постороннего человека, особенно привыкшего к живому и искреннему обмену мыслей, подобные собрания нагоняют невыносимую скуку.

В Турине было, однако, в то время нечто гораздо более занимательное, нежели дипломатические собрания. Он был центром самой живой политической жизни. Это была та пора, когда в Италии пробудилось национальное чувство, и все взоры обратились на Пиэмонт, который решительно стал во главе движения. Как электрическая искра, пробежала по итальянским сердцам знаменитая фраза, сказанная Виктором-Эммануилом при открытии палаты: «Мы однако не бесчувственны к крику боли, который из стольких частей Италии поднимается к нам». Все, что было мыслящего и благородного в Италии собралось в Пиэмонте, который один представлял убежище от невыносимого деспотизма, царившего всюду. Во главе сардинского правительства стоял

государственный человек первой величины, который с необыкновенною ловкостью и прозорливостью умел двигаться между опасностями и давать своему маленькому государству выдающееся значение среди европейских держав. Здесь были и парламентские учреждения, какими в то время не обладал ни один другой народ на европейском материке. На почве самой широкой политической свободы Кавур воздвигал будущее величие своего отечества, и все, что было истинно либерального в Европе с глубоким сочувствием смотрело на его начинания.

На следующий же день после моего приезда в Турин брат повел меня в палату депутатов, в дипломатическую трибуну. Я итальянскому языку немного учился в детстве, но устной речи вовсе не понимал. Тем не менее, самый вид парламента и происходившие в нем политические прения произвели на меня глубокое и возвышающее душу впечатление. Я видел перед собою людей, от которых зависели не только судьбы отечества, но некоторым образом и самые судьбы мира: знаменитого Кавура, с невзрачною наружностью, маленького, толстенького, в очках, но с необыкновенно умным и проницательным взглядом, тогдашнего его союзника Ратацци, благородную фигуру военного министра Ламармора, вождей правой и крайней левой, Ревеля, Депретиса, Брофферио. Я слушал их то страстные, то сдержанные речи. Вся парламентская процедура, это свободное обсуждение высших интересов государства не в тайне бюрократических совещаний, а перед лицом всего народа, живо меня занимала, и я много раз возвращался в это святилище, думая: придется ли когда-нибудь видеть нечто подобное в моем собственном отечестве? Увы, мне уже и тогда это казалось несбыточною мечтою. То, что я оставил позади, слишком далеко отстояло от того, что представлялось моим взорам. Я с жадностью принялся и за чтение итальянских газет. В первый раз мне доводилось находиться в самом средоточии живой политической жизни. Это был уже не отголосок, приносящийся из каких-то отдаленных стран, а постоянный, ежедневный, волнующий интерес окружающей среды. И этот интерес осуществлял в себе высшие начала общественной жизни и открывал самые широкие и заманчивые горизонты в будущем. Вместо предсмертных судорог развратного старичишки, как выражались славянофилы, я видел возрождение юного, полного сил народа, которому предстояла великая будущность. Если Венеция представляла все величие прошлого, то Турин проявлял всю бодрость и силу настоящего. Здесь, как бы в маленьком фокусе, сосредоточивалась европейская жизнь во всем ее блеске, в идеальном благородстве ее стремлений и надежд. Окунуться в эту

атмосферу, насквозь проникнуться оживляющим ее могучим дыханием свободы,— это было событием в жизни, оставляющим в душе неизгладимые следы. Не могу без удивления подумать о тех молодых людях, которые, как Добролюбов, приехавши в Турин и видя воочию это беспримерное движение, не только не испытывали на себе неудержимого к нему сочувствия, но с остервенением ополчились на Кавура и на его деятельность. На это нужно было все невежество, тупоумие и пошлость русского радикала новейшего фасона. И этого господина возводят в великие люди, делают из него учителя русского общества![1].

Турин, как город, построенный совершенно в новом вкусе, разбитый на квадраты, однообразный и пошлый, представлял немного любопытного; но прогулки по окрестностям были очаровательны. Мне памятна особенно одна. В компании разных молодых дипломатов мы отправились с вечера пешком на близлежащую гору, где стоит монастырь Суперга; мы хотели оттуда смотреть на восхождение солнца. Самое уже ночное шествие представляло нечто волшебное. Вверху, на глубине прозрачно-темного южного неба ярко сияли звезды, а внизу миллионы светящихся жучков, как живые бриллианты, летали во все стороны и садились на деревья, озаряя мрак своим фосфорическим блеском и придавая какое-то таинственное оживление упоительной неге итальянской ночи. Все это, однако, было ничто в сравнении с тем, что ожидало нас наверху. Когда мы после легкого отдыха взошли на крышу монастыря, нам представилось зрелище, какого я другого не видал. С одной стороны солнце вставало в полном блеске над расстилающейся вдали цепью снежных Альпов, а с другой стороны надвигалась гроза. На темной туче блестела яркая, совершенно круглая радуга, которая прерывалась внизу лишь тенью от колокольни монастыря. Молнии зигзагами поминутно сверкали на заключенной в радуге черной пелене, гром грохотал непрерывно и после всякого удара на железной кровле слышался свист, подобный шипению воды, брошенной на раскаленную плиту. И все это: и небо, и монастырь, и окрестность, как бенгальским огнем освещалось красными лучами восходящего солнца. Мы стояли и любовались этою величественною и грозною картиною, пока дождь не заставил нас скрыться в монастырь. Когда же гроза миновалась и мы опять поднялись на крышу, мы увидели у ног своих всю равнину Пиэмонта, облитую светлыми лучами весеннего солнца; после живительного дождя в прозрачном воздухе носилось благоухание прелестного май-

---

[1] Дело идет о корреспонденции Н. А. Добролюбова «Из Турина», появившейся в «Современнике», 1861, № 3

ского утра, а вдали, на синем небе рисовались снежные вершины величественных Альпов. Я вернулся в полном восторге. Впечатления были так сильны, что даже общество дипломатов не могло им помешать.

Из Турина я через Геную поехал в Ниццу. После скучной, построенной по линейке столицы Пиэмонта, Генуя снова представила мне старый оригинальный итальянский город, с великолепными дворцами, полными картинных галлерей, где особенно выдавались писанные Ван-Дейком фамильные портреты старинных генуэзских вельмож. Я взобрался на крышу Кариньянской церкви [1], и оттуда опять открылся передо мною очаровательный вид: сзади весь амфитеатр покрытых зеленью гор, на котором расположена гордая Генуя, спереди заставленная сотнями кораблей гавань, а за нею расстилающееся вдаль ярко голубое Средиземное море, которое тут в первый раз представилось моим взорам. Долго я любовался этим видом, и в другой раз вернулся, чтобы насладиться им снова.

В Ниццу я ехал для свидания с Дмитриевым, который в это время путешествовал за границею с великою княгинею Еленою Павловною. Когда был поднят вопрос об освобождении крестьян, и правительство еще колебалось насчет способа, как совершить это преобразование, великая княгиня захотела показать благой пример, освободивши крестьян в купленном ею малороссийском имении Карловке. Для этого ей нужен был секретарь, который бы понимал дело и мог вести переписку. Она обратилась к Кавелину, и он рекомендовал ей Дмитриева. Великая княгиня этот год зимовала в Риме; весною же она переехала в Ниццу, в то время принадлежавшую Пиэмонту [2].

Приехав поутру на пароходе, я отправился на виллу Бермон, где стояла Елена Павловна с своею свитою. Мы с Дмитриевым очень друг другу обрадовались; но после кратких распросов о московских друзьях, он объявил мне, что я тотчас должен итти к великой княгине, которая приказала, чтобы меня представили ей немедленно по приезде. Я извинялся своим утренним костюмом, но Дмитриев сказал мне, что на это у них не обращается никакого внимания, и я в летнем жакете и цветном галстуке отправился на первую в своей жизни аудиенцию у августейшей особы. Я так далек был от придворных сфер и так мало знаком был с господствующими в них обычаями, что, побеседовав около

---

[1] S. Maria di Carignano, построенная в 1552—1603 гг.

[2] Впечатления от пребывания в Италии и в Ницце описаны Б. Н. Чичериным в письме к Л. Н. Толстому из Турина от 19 июня/1 июля 1858 г. (Письмо Толстого и к Толстому, стр. 270—272).

часа с великой княгиней, я сам встал и раскланялся. Уже после, заметив некоторую неловкость, я догадался спросить, и тогда только узнал, что я показал себя совершенным невеждой в придворном этикете. Но несмотря на это, меня тут же пришли звать к обеду, потом удержали весь вечер, а когда я собрался уехать, мне объявили, что великая княгиня приглашает меня переехать к ней в пустой флигель на вилле Бермон на все время моего пребывания в Ницце. На следующий день я перебрался и тут прожил недели две. С тех пор я сделался близким человеком при дворе великой княгини, которая до самой своей смерти сохранила ко мне неизменно доброе расположение. Это тоже одно из хороших воспоминаний моей жизни.

Впоследствии я видел много дворов, но ничего подобного тому, что я нашел здесь, я не встречал. Великая княгиня одна умела воспользоваться всеми принадлежащими ей по положению средствами, чтобы сделать из своего двора умственный центр, где всякая придворная атмосфера исчезала, и где с изяществом форм сочетался живой обмен мыслей при полной непринужденности отношений. Чтобы достигнуть этого, без сомнения, нужно было обладать весьма высокими качествами. Елена Павловна была женщина необыкновенно ясного и твердого ума, с которым соединялись широкое образование и самые возвышенные чувства. Воспитанная в доме Кювье, где все было полно умственных интересов, она прибыла в Россию еще в царствование Александра I, когда образование высоко ценилось даже при дворе. К несчастью, ее просвещенные наклонности не сходились с вкусами ее мужа. Великий князь Михаил Павлович был человек весьма неглупый, добрый, любимый детьми; но его грубоватая натура не понимала и не ценила утонченных потребностей жены. Он предпочитал фронт и маршировку литературным занятиям и давал это чувствовать на каждом шагу. Случалось, что великая княгиня устроит у себя литературный вечер; великий князь придет, подсядет к какой-нибудь фрейлине, и вдруг так ее ущипнет, что та вскрикнет от боли; происходит всеобщее смятение, и чтение прерывается. Или он притворялся слушающим, и вдруг как будто засыпал от чтения и сваливался с своего стула. Разумеется, подобные выходки, повторяемые ежедневно и ежечасно, оскорбляли великую княгиню. Она раздражалась, и это отражалось на самом ее характере.

После смерти мужа она могла уже предаться своим наклонностям без всякого стеснения, устроить свою жизнь, как она хотела, и тут она явилась тем, чем была на самом деле, в спокойном величии возвышенной природы, чуждой всему мелочному, ищу-

щей в жизни единственно то, что в ней есть высокого и привлекательного. Куда бы она ни приезжала, она тотчас приглашала к себе всех сколько-нибудь выдающихся людей. Государственные деятели, ученые, литераторы, артисты — всё собралось около нее, и все находили тут умственную пищу и удовольствие. Со всяким она умела говорить о том, что его интересовало, всякого умела поставить так, что ему было свободно и приятно. В маленьком кружке, в интимной беседе и в больших собраниях, она была одинаково приветлива, умна и занимательна. Я не раз любовался, с каким неподражаемым искусством она исполняла трудные обязанности высокопоставленных особ при больших приемах: с своею величавою осанкою она обходила всех и каждому говорила приветливое слово, никогда пошлое, а всегда умно и уместно. Никто также не умел, как она, устраивать большие вечера. В великолепных аппартаментах Михайловского дворца происходили блестящие празднества и представления, о которых долго говорили. Тут соединялось самое разнообразное общество, являлись и царственные особы, и всякому она знала, чем угодить.

И все это не было только поверхностным искусством светских людей, которые внешним блеском и умением ловко говорить обо всем часто прикрывают крайнюю бедность содержания. Великая княгиня, действительно, живо и глубоко интересовалась всем: и наукой, и литературой, и искусством. Она любила и понимала музыку и часто устраивала у себя музыкальные вечера. Нередко она на досуге заставляла себе читать стихотворения Гете. Ученого она расспрашивала о его специальности, с тем, чтобы извлечь из него какое-нибудь полезное знание. Но главное, что ее привлекало, и это составляло предмет ее внимания, были вопросы политические. Ум ее, открытый для всего, был, однако, по преимуществу практический. Беседы о важных вопросах текущей политики составляли для нее высшее наслаждение. Со всем пылом горячей благородной души следила она и за происходившими в России преобразованиями, особенно за освобождением крестьян, которому она отдавалась вся и которое она считала жизненным для нас вопросом. Ее упрекали в честолюбии, в желании вмешиваться в государственные дела. Но для этого она была слишком умна. Она весьма хорошо понимала, что в ее положении всякое неуместное вмешательство могло бы только испортить дело и подорвать ее кредит. Вся ее политическая деятельность ограничивалась тем, что она умных и даровитых людей старалась сблизить с властьимущими. Она говорила, что у нас весьма важно, чтобы царствующие особы привыкали видеть известную физиономию, и она на своих вечерах производила такого рода сближения. Либе-

ральная по убеждениям, разумеется, в весьма умеренных размерах, она старалась этим способом выдвигать стоящих на втором плане деятелей, от которых она ожидала пользы для России. Таковы были Н. А. Милютин, Черкасский. Она и меня хотела выдвигать, но это был напрасный труд. «Я хотела бы, чтобы Вы сделались государственным деятелем», — сказала она мне однажды. «Нет никакого риска, чтобы я им стал», — отвечал я. При моих научных наклонностях и привычке к независимой жизни, я вовсе не желал менять ученое поприще, которое при всяких условиях могло наполнять жизнь человека, на зависящую от чужой милости и обуреваемую всякого рода интригами служебную карьеру. Общественная деятельность в широкой сфере могла мне улыбаться, но никак не восхождение по чиновной лестнице. Невозможность сделать из меня влиятельное лицо в государстве не ослабило, однако, всегдашнего благосклонного внимания великой княгини. В человеке для нее важно было не положение, а внутреннее содержание. И, с своей стороны, те, которым доводилось подходить к ней близко и узнать высокие качества ее души, ее постоянную доброту, ее готовность на всякую помощь, ее горячее участие к судьбе других, не только пленялись ее умом, но привязывались к ней сердечно.

Зато, с другой стороны, ее глубоко ненавидели все знатные пошляки, для которых способные и либеральные люди были бельмом на глазу. Не было грязных клевет, которые бы не распускались на ее счет из петербургской аристократической среды. Эта ненависть питалась и поддерживалась тем, что великая княгиня, насквозь понимая этих господ, сама их не жаловала. Обладая глубоким практическим смыслом, она имела удивительное знание людей. Как сильные, так и слабые их стороны не были от нее скрыты; она умела каждого оценить по достоинству и определить истинный его уровень. При этом она ценила не только ум и способность, но, главным образом, нравственную сторону, благородство убеждений, независимость характера. Живым примером ее взглядов на людей может служить сцена, которой я был свидетелем. Мне случилось быть в Петербурге в начале 1867 года, когда Замятин вышел из министерства юстиции, и граф Пален был намечен на эту должность. Палена сильно поддерживал Шувалов, который в то время был на вершине могущества и хотел окружить себя клевретами. Государь любил графа Палена и сам настойчиво уговаривал его принять должность министра; но последний отказывался, зная, что он вовсе к ней не подготовлен и считая себя неспособным ее занимать. В это время великая княгиня, утомленная петербургскою светскою жизнью, вздумала по-

ехать на несколько дней отдохнуть в Ораниенбаум и пригласила меня с собой. Однажды мы обедали втроем: великая княгиня, баронесса Раден и я. Баронесса Раден пришла к обеду с открытым письмом и с торжествующим видом. «Могу объявить вашему высочеству, — сказала она, — что граф Пален решительно отказался от должности министра юстиции». При этой вести великая княгиня вдруг залилась в три ручья. «Слава Богу!» — воскликнула она, — Еще один порядочный человек!» «Вы можете гордиться своими Балтийскими провинциями», — прибавила она, обращаясь к баронессе Раден. «Да, вчера я была унижена, а сегодня горжусь», — отвечала последняя. И когда на моем лице, по-видимому, выразилось некоторое удивление по поводу этой внезапной вспышки радости и этих слез, великая княгиня сказала мне: «Не удивляйтесь тому, что я это известие принимаю так к сердцу. Вы живете вдали от петербургских высших сфер и не имеете понятия о той степени низости, которая в них господствует. Когда случайно встретишь порядочные чувства, душа так и радуется». Слово: е щ е, которое вырвалось у нее при известии о благородном поступке графа Палена, относилось к тому, что незадолго перед тем Черкасский вышел в отставку, несмотря на настойчивые просьбы государя. Но Черкасский был независимый человек, а граф Пален чиновник, и на следующий день пришло известие, что он должность министра юстиции принял. Слух о том, будто в петербургских высших сферах случайно встретился порядочный человек, оказался ложным, и слезы радости были напрасны.

Из этого рассказа можно видеть, с каким горячим и благородным участием великая княгиня относилась к интересам своего русского отечества. Она глубоко скорбела о господствующем у нас раболепстве, о постоянной розни, о мелких интригах, наполняющих, как высшие, так и низшие сферы. В этом отношении она иногда говорила, что русскому обществу полезна примесь немцев, которые лучше умеют за себя стоять и крепко сплочаются вместе. С сердечною болью отзывалась она и о господствующей у нас на вершинах любви к пошлости и рутине, о презрении к людям, о неумении ценить истинные заслуги. В последние годы ее жизни, при водворившейся у нас реакции, эти впечатления делались все сильнее и сильнее, и она с горечью отворачивалась от внутренней политической жизни, видя унижение всего, что ей было дорого и чувствуя полное свое бессилие помочь чем бы то ни было.

Тем с большею горячностью принялась она за то дело, которое было у нее в руках, за устройство благотворительных заведений. Тут она была полная хозяйка и могла проявлять весь

свой практический смысл. Она внимательно изучала всякое дело, вникала во все подробности, расспрашивала специалистов, осматривала за границею учреждения, подобные тем, которые она хотела основать в России, выбирала людей, умела их направлять, и сама, наконец, была вдохновляющим элементом всего предприятия. И ум, и энергия, и сердечное участие, все тут соединялось для достижения успеха. Ее учреждения останутся после нее памятником для потомства; но еще лучшим памятником остается воспоминание об этой возвышенной, изящной, благородной, горячей, истинно царственной личности в сердцах всех, кто знал ее близко.

С памятью о великой княгине неразрывно связано имя верной ее фрейлины, баронессы Эдиты Федоровны Раден. Без нее двор Елены Павловны не мог бы быть тем, чем он был. Чтобы сделать из него умственный центр, чтобы сохранить в нем всегда возвышенную атмосферу, недостаточно одной владычествующей особы; надобно, чтобы и подчиненные лица умели поддержать общее настроение, а баронесса Раден разумела это вполне. Я скоро с нею сблизился, и между нами завязалась неизменная дружба, которая с годами только крепла и крепла. «Ваша дружба была и будет одной из радостей моей жизни», — писала она мне много лет спустя. С грустным и вместе сладостным чувством привожу эти драгоценные для меня слова.

О баронессе Раден никто, ни знавшие ее близко, ни даже только слышавшие о ней не говорили иначе, как с глубочайшим уважением. Это была одна из самых чистых и возвышенных душ, каких я встречал на своем веку. Удивительно даже, как в петербургской придворной атмосфере могла сохраниться такая неизменная искренность и прямота побуждений, такое полное самозабвение, такое отсутствие всего мелочного. Она вся жила в какой-то возвышенной нравственной сфере, откуда она взирала на жизнь и людей, стараясь всегда уловить их лучшие стороны, и никогда не прикасаясь иначе, как с чувством негодования, к мелким человеческим дрязгам и суетным побуждениям. Во всяком ее слове выражалась спокойная обдуманность и глубокая задушевность; всякий ее поступок проникнут был чувством нравственного долга, который был неуклонным руководящим началом всей ее деятельности. С летами в особенности, эти внутренние, незыблемые основы ее нравственного бытия выступали все ярче. Все ее мысли были устремлены к вечному и неизменному [...] [1].

При таком глубоко-религиозном настроении, она в родном протестантизме усвоила себе лучшие его начала: жадное искание

[1] Здесь опускаются выдержки из писем Э. Ф. Раден к Б. Н. Чичерину.

истины и пламенное стремление личной души к верховному источнику всего сущего, помимо всяких церковных установлений. Эти чувства она выражала иногда с удивительным красноречием. Это были звуки, вырывающиеся из глубины души и возлетающие к небу [...] [1].

Но проникнутая насквозь духом родного протестантизма, баронесса Раден понимала и другие стороны религиозной жизни. Ей совершенно чужды были протестанская узкость и исключительность. После зимы, проведенной в Риме, ее даже подозревали в наклонности к католицизму, до такой степени она горячо принимала к сердцу возвышенные черты католической религии, тот чистый энтузиазм и то радостное самозабвение, которые она умеет возбуждать особенно в женских душах.

«Я человек чрезвычайно терпимый», — писала она [...]. «Я испытываю искреннее и часто умиленное восхищение перед земным великолепием католических церквей, но когда касаются существа моей веры, то я чувствую в себе опять гугенотку и не боюсь никакой аркебузады». Это была немецкая протестанская натура, расширенная русскою средою, в которой она провела всю свою жизнь, а также и постоянным общением с тою высокою личностью, которой она была предана всею душою. Она любила приводить весьма характеристические слова великой княгини: «Я благодарю бога за то, что была воспитана в протестантизме и затем вступила в религию, которая ставит человеческий разум на свое место».

Огромное влияние на баронессу Раден имел слишком рано умерший ее старший брат, которого она страстно любила. Он был главным деятелем во 2-м отделении, при графе Сперанском, и по всем отзывам был человек весьма замечательный. От него она с ранней молодости получила любовь к мысли и живое участие ко всем умственным интересам. Образование у нее было разнообразное и обширное. Она много читала и умела ценить всякую книгу. Сила и возвышенность мысли и разнообразные оттенки чувства были ей равно доступны. Чуждая философским вопросам, она с участием следила за чисто логическою аргументациею. Но особенно развит у нея был эстетический вкус. Все отрасли искусства: музыка, живопись, ваяние, поэзия, были ей понятны, не только внешнею, но преимущественно внутреннею своею стороною. Глубоко прочувствованное и изящно-выраженное стихотворение

---

[1] Б. Н. Чичерин приводит далее большой отрывок из письма Э. Ф. Раден по поводу его книги «Наука и религия», в которой он «по ее мнению, недостаточно выяснил значение протестантизма для внутренней жизни человека». Отрывок этот опускается.

приводило ее в восторг, и наоборот, всякое неверное чувство, всякое пошлое или резкое выражение оскорбляли ее чуткую душу. Сама она писала прелестно. Приведенные выше отрывки из ее писем могут служить тому доказательством. По ясности и изяществу слога, по глубине и возвышенности мыслей и чувств, по благородству тона, который в них господствует, иногда по меткости выражений, немногое может с ними сравниться. Ей случалось войти в письменные состязания с людьми не рядового ума и мастерски владевшими пером, как Ю. Ф. Самарин, и она не только им не уступала, но и возвышалась над ними. Я уже сказал, как она, вступившись за свои родные, близкие ее сердцу Балтийские провинции, с такою неподражаемою тонкостью и силою обличила всю его односторонность и пристрастие, что он должен был перед нею умолкнуть и протянул ей дружескую руку [1]. Не менее любопытна ее переписка с ним по религиозным вопросам [2]. Он излагал православную, а она протестанскую точку зрения, и это она делала с такою глубиною и задушевностью и в такой изящной форме, что невольно сочувствие становилось на ее стороне. Во многом они, впрочем, сходились, особенно в начале внутреннего освящения, которое Самарин ставил так же высоко, как она.

Столь же привлекателен был и ее разговор, не отличавшийся живостью, но всегда умный, спокойный, разнообразный, касающийся возвышенных сторон жизни и затрагивающий глубокие струны человеческого сердца. Она умела говорить со всеми, и, как подабало ее званию, всегда приветливо и с участием. Но особенно она раскрывалась в интимной дружеской беседе. Когда я бывал в Петербурге, я почти каждый вечер проводил в ее маленькой гостиной во флигеле Михайловского дворца, и всегда жалел, когда тут присутствовал кто-нибудь посторонний, кроме самых близких друзей. День, когда я ее не видал, мне казался пустым: такое сердечное удовлетворение доставляла мне эта задушевная, полная прелести беседа. Здесь вполне высказывалось ее горячее, любящее сердце, ее сдержанный пыл, ее удивительная чуткость ко всему высокому, ее благородное негодование против человеческих низостей. И кого она раз полюбила, перед тем она раскрывалась с полным доверием, вызывая такое же доверие и к себе. Она была непоколебимо верным другом. И радости, и горе друзей, их успехи и их неудачи, возбуждали в ней самое теплое и глубокое участие. «Вы давно знаете, что счастье моих друзей — это солнечный луч в моей жизни», — писала она мне.

---

[1] См. воспоминания Б. Н. Чичерина. Москва сороковых годов, стр. 251.
[2] Переписка эта напечатана в Москве, в 1893 г.

в своих привязанностях, так же как в своих помышлениях, она искала вечного и неизменного. [...] [1].

Не во всем, однако, мы с нею сходились. С своим высоким нравственным строем она витала в какой-то идеальной сфере, из которой она не всегда могла разглядеть человеческую пошлость и судить правильно о жизненных отношениях. Особенно после смерти великой княгини, которая с своим ясным, практическим умом всегда трезво смотрела на вещи и низводила на землю идеальные стремления своей спутницы в жизни, в баронессе Раден развилась наклонность видеть в слишком благоприятных красках окружающую ее среду. Этому способствовали и те страшные события, которыми ознаменовались последние годы царствования Александра II. Они усилили в ней и без того чрезмерно консервативный образ мыслей. Ей представлялось, что надобно всеми силами поддерживать новое правительство, водворившееся среди этих ужасов, и она не замечала, что это новое правительство вовсе не нуждается в поддержке независимых людей. Особенно я сетовал на нее за то, что она не удержала Дмитриева от того пути, по которому он пошел [2]. Она одна могла это сделать, ибо он был к ней привязан так же, как и я. Мы составляли нераздельное трио Имея в виду одно неуклонное чувство долга, исполненная идеальных понятий о рыцарской преданности престолу, она не видела низменных путей и подводных камней чиновничьей карьеры. Оказалось, что мы на многое смотрим с совершенно противоположных точек зрения: она осуждала то, что я считал необходимым и должным и, напротив, поддерживала то, что я сильно осуждал. Мне памятен последний наш разговор о современном положении, при прощании во время коронации. Это был и, вообще, последний наш разговор. Я поехал провожать ее на железную дорогу, и здесь, сидя с нею наедине в вагоне еще раз высказал ей все свои мрачные предчувствия насчет общего хода дел. Я говорил, что невозможно приехать короноваться при таких смутных обстоятельствах и не сказать народу ни единого слова об ожидающем его будущем. «А не думаете ли Вы, — сказала она, — что может водвориться управление, хотя не высокого строя, но проникнутое самыми чистыми нравственными стремлениями?» — «Какая тут нравственность? — отвечал я. — Посмотрите, кто окружает престол, каких государственных людей нам привезли из Петербурга. Ведь это — настоящий зверинец. Мы топчемся в грязи; а что ж далее?» — Это были последние слова, с которыми я с нею расстался.

[1] Опущен отрывок письма Э. Ф. Раден.

[2] См. Воспоминания Б. Н. Чичерина. Москва сороковых годов, стр. 207, след.

Не долго, однако, она могла сохранить свои иллюзии. В последние годы жизни ей волею или неволею пришлось погрузиться в практическую деятельность и видеть вещи вблизи. После смерти великой княгини, она всю свою душу положила на поддержание основанных ею учреждений. Затем, во время войны, ей поручено было заведывание центральным складом Красного Креста. Наконец, в новое царствование, императрица призвала ее к содействию, помощью и советом, в управлении женскими заведениями. Всюду она вносила воодушевлявшее ее чувство долга, и все, что она делала сама, было безупречно. Но, не созданная, в сущности, для практического дела, она приходила в отчаяние от постоянных столкновений с всеохватывающим господством житейской пошлости.

Когда она призвана была к императрице, она писала мне: «Я ничего не искала, это ведает бог, меня страшит та ответственность, которую я на себя принимаю, я вижу, как вокруг меня громоздятся целые горы инертности, рутины, пошлых чувств (самое большое, по-моему, зло, так как оно непоправимо), сложных интересов, а мне всему этому противопоставить нечего, кроме своей слабости и своего одиночества. И однако, в наши дни, каждый должен браться за плуг — не оглядываясь назад».

Но эта постоянная борьба была ей не по силам. Уже в 1876 г. она писала мне: «...Ах, мой дорогой друг, печальна жизнь! Ее выносишь так или иначе, но пройдя две трети обычного пути, уже чувствуешь себя утомленным».

С увеличением деятельности, эта усталось все усиливалась. В 84-м году она писала: «Моя деятельность сопряжена с неприятностями, даже огорчениями, ибо возраст не притупляет некоторых чувств негодования и изумления, которые я испытывала с детства. Я бываю иногда так грустна и так утомлена, что мне хотелось бы бежать в пустыню. Господь помогает мне побороть мою слабость: показывая мне, как близка конечная цель, он помогает мне быть стойкой до конца».

В это время меня постигло глубокое горе, которому она показала живейшее участие [1]. У нее самой открылся рак; она была при смерти. Ей сделали опасную операцию, которая, однако удалась. Едва вставши, она тотчас опять принялась за работу. В декабре 84-го года она писала:

«Я едва освободилась от своих физических страданий, как на меня нахлынули бесчисленные огорчения. Иллюзия ли верить в то, что их легче переносить у входа в вечность? Я молю бога,

[1] Смерть дочери Ульяны Борисовны (род. 1877 г.), в сентябре 1884 г.

чтоб я не слишком быстро привыкла к порочному воздуху равнины, и больше всякого другого зла, опасаюсь своей слабости». А в январе 85-го года: «Здоровье мое поправилось, я на ногах и исполняю все свои обязанности служебные и семейные, но не могу преодолеть жажды уединения вдали от света, которая растет с каждым днем. Три месяца тому назад я приготовилась к смерти без сожаления и без страха. Бог продлил мне жизнь, он этого хочет; следовательно это нужно для моей бедной усталой души, а все-таки я не могу заставить себя с радостью творить его волю! Я чувствую себя утомленной и грустной, я боюсь соприкосновения с миром, чувствительно понижающим моральный уровень; боюсь и личного эгоизма, проявляющегося во мнимом уединении, так как мир внутри нас со всеми его соблазнами тщеславия, более опасными даже, чем соблазны внешние [...]».

Летом она поехала лечиться за границу, но перед возвращением в Россию снова открылась опухоль. Она поняла, что все было кончено. Опять сделали операцию, но на этот раз это только ускорило конец. В октябре 85-го года, в то время, как я ехал из деревни в Москву, я вдруг получил телеграмму, извещающую меня, что она умирает и желает меня видет. Я тотчас полетел в Петербург и застал ее уже в безнадежном состоянии, но еще крепкую духом, и ни словом, ни даже стоном не обнаруживавшую тех невыносимых страданий, которые она испытывала. Прямо с железной дороги сестра повезла меня к ней, говоря, что она ждет меня с нетерпением. Я вошел в комнату умирающей. Она посмотрела на меня своим глубоким взглядом, крепко пожала мне руку и с трудом, тихим голосом проговорила последние слова: «Вчера вечером я чувствовала себя очнень плохо, но я молилась богу, если необходимо страдать всю ночь, чтобы Вас видеть, то продлить мои страдания. Я хотела пожать вам руку в последний раз». Она меня благословила и просила передать ее благословение моей жене. После этого я еще раз входил к ней по ее желанию, но она уже не могла говорить. На следующий день она скончалась, оплаканная всеми. Вылившийся из глубины сердца образ этой чистой и высокой души пусть сохранит о ней память для будущих поколений. Такие женщины редко встречаются на свете.

Другая фрейлина Елены Павловны, жившая в то время на вилле Бермон, баронесса Сталь, сестра нынешнего посла в Лондоне, была женщина совсем другого рода. Это была девушка в полном цвете молодости, красивая, изящная, умная, образованная, с некоторым талантом к живописи, но очень себе на уме. В семнадцать лет она откровенно говорила, что нельзя доверяться ни-

кому, и что надобно самому пробивать себе дорогу. Пути, которые она для этого избирала, были, однако, не совсем надежны. Пока она была еще очень молода, она сдерживалась и вела себя скромно; но впоследствии она сбросила всякую узду и выказала всю свою холодную, страстную, своенравную и лживую натуру. Великая княгиня принуждена была удалить ее от себя, и тогда, разъяренная, она пустилась на всякие каверзы, интриги и клеветы. Все это, однако, не послужило ни к чему. Она уехала за границу и вышла замуж за какого-то француза, виконта де Отерива, с которым потом, говорят, разошлась. Я потерял ее из виду.

Но все это оказалось уже много лет спустя. В то время, о котором я теперь говорю, м-ль Сталь была привлекательным центром для молодых людей, живших на вилле Бермон. Дмитриев, Сергей Абаза, секретарь великой княгини, и я, все немного за нею ухаживали. Абаза за ужином поднимал бокал шампанского и говорил:

Пью за здравие Стали!
Милой Стали моей!

А Дмитриев к этому прибавлял:

Но, признаться, едва ли
Нам понравиться ей!

Конечно, она искала выгодной партии, а не пустого волокитства.

Если юная и красивая девица Сталь была предметом любезностей, то при дворе было два лица, которые были предметом неистощимых шуток и острот Дмитриева, одно тайных, другое явных. Первый был гофмаршал великой княгини, барон Розен, честный и недалекий немец, добродушный, но весьма чопорный, исполненный важности своего положения, своих отличий и своей должности. Он любил, чтобы все при дворе происходило в совершенно чинной форме, и когда мы с Дмитриевым однажды вздумали за гофмаршальским столом говорить стихи для удовольствия дам, он после обеда с негодованием отзывался: «Это не гофмаршальский стол, а какая-то академия!». Точно так же негодовал он, всякий раз, как великая княгиня не соблюдала тех обрядов, которые, по его мнению, были совершенно необходимы. Он был очень недоволен моею первой аудиенцией: «вот молодой человек, который хочет представиться, как все порядочные люди, и вдруг его принимают в утреннем костюме! На что это похоже?» Если же дело касалось его самого, то он выходил из себя. Дмитриев очень забавно рассказывал, в какое неистовство однажды пришел барон, когда великая княгиня, перед отъездом из Рима, послала его к папе просить извинения, что она по нездоровью не может

сама приехать проститься. «Что это сталось с этой великой княгиней! — восклицал он в бешенстве, — посылать меня, протестанта, на поклон к этой рухляди — папе!» Но оттуда он вернулся, как шелковый. «Да он очень приличен — папа! — говорил он. — Представьте себе, что он пригласил меня обедать. Это первый раз, что протестант обедает у папы». Дмитриев рассказывал про него бесчисленные анекдоты. Перед моим приездом в Ниццу барону ко дню именин великой княгини, была прислана телеграмма с известием, что ему жалуется Анна первой степени, а, между тем, самая лента еще не была доставлена. Барон пришел в большое затруднение, не зная, что ему надеть в этот торжественный день: Анна еще не пришла, а Станислав уже сделался ему противен. Он решил «comme intérime», надеть итальянскую ленту и с гордостью рассказывал всем о своем тонком изобретении.

Предметом явных острот был доктор Арнот, высокий, сухощавый, с еврейской физиономией австриец, которого Дмитриев все дразнил тем, что Австрия составляет помеху человеческому развитию и непременно должна разрушиться. Доктор приходил в ярость и, не понимая, что над ним издеваются, пресерьезно старался убедить всех и каждого в необходимости существования Австрии. Я вспомнил свои старинные подвиги и начертал его жизнеописание в карикатурах. Между прочим, изображено было, как они вдвоем купаются: Дмитриев, в виде бесенка, показывает ему нос с берега, а долговязый доктор, погруженный по пояс в море и поднимая свою костлявую руку, кричит ему: «Нет, Австрия необходима!»

При таких элементах время на вилле Бермон протекало в полном удовольствии. Мы проводили целые дни вместе, сменяя шутливую болтовню серьезными разговорами, иногда делали в компании прелестные прогулки по окрестностям. По вечерам у великой княгини обыкновенно бывала музыка; пела жившая у нее в то время красивая девица Штуббе, впоследствии вышедшая замуж за Александра Аггеевича Абазу. Однажды мы с Дмитриевым и с Сергеем Абазой ездили в Монако, куда их притягивала рулетка, а меня привел в восторг переезд через горы, который в раннюю летнюю пору представляет нечто совершенно идеальное. Мы были молоды, веселы, беззаботны. Перед нами в радужных цветах открывалось заманчивое будущее. В отечестве настала давно желанная пора свободы, и нам предстояла плодотворная деятельность. А пока мы проводили беспечные дни, в обществе изящных и привлекательных дам, в очаровательной обстановке, под сияющим небом юга, у берегов глубокого Средиземного моря, в тени померанцев и олив. Даже в воспоминании все это представ-



ляется мне как листок из волшебной сказки, где в садах благодетельной феи встречаются странствующие принцы и заколдованные принцессы и проводят дни в невинных увеселениях. Грустная минута настала только тогда, когда пришла пора разъезжаться; но мы твердо надеялись увидеться вновь и зажить прежнею жизнью.

В половине июня мы с Дмитриевым и доктором поехали через Col di Tenda в Турин, куда вскоре должна была прибыть и великая княгиня, проездом в Германию. Во все время нашего 24-часового путешествия Дмитриев потешался над доктором. Бедная Австрия разрывалась на клочки. И днем и даже ночью это был непрекращающийся поток шуток и острот. Чеоез несколько дней мои спутники отправились далее, а я намеревался ехать в Лондон, чтобы повидаться с Герценом. Мне хотелось переговорить с ним о настоящем положении дел в России и о той политике, которой надобно было держаться при существующих условиях. Затем я думал, побывав в Лондоне и Париже, походить по горам в Швейцарии, а зиму провести в Италии, преимущественно в Риме. Вообще, этот первый год моего заграничного путешествия посвящался осмотру достопримечательностей Европы, после чего я уже хотел засесть за работу.

Однако в Лондон я попал не скоро. Брат задумал жениться и убедил меня ехать с ним в Ишль, где в то время находилась занимавшая его особа, дочь родной сестры графа Штакельберга, баронессы Мейендорф. Мы отправились через Швейцарию и Тироль, кой-где по железной дороге и пароходом, но большею частью в открытой коляске, что много способствовало полноте и свежести ощущений. Это было одно из самых очаровательных путешествий, какие мне доводилось делать. Я был увлечен, вознесен, отуманен целым роем совершенно новых для меня впечатлений, беспрерывно меняющимся рядом восхитительных картин. Первое, что меня поразило, было великолепное Лаго Маджоре, самое величественное из итальянских озер. К сожалению, погода была не совсем благоприятная. Облака обвивали горы, порою шел дождь. Под зонтиками мы осматривали Борромейские острова. Но когда прорывался солнечный луч и озарял эту дивную панораму гор, окаймляющих широкие воды озера, вокруг которого живописная крутизна альпийским скал украшается всею роскошью итальянской природы, можно было притти в полный восторг. Я обещал себе возвратиться сюда еще раз, чтобы видеть итальянские озера во всем блеске их красоты, что мне и удалось впоследствии. Взявши веттурино в Беллинцоне, мы поехали по

долине Тичино. Тут я впервые увидел вблизи, можно сказать ощутил, горную природу в ее суровом величии, во всех переходах от приютных человеческих жилищ до возносящихся к небу голых утесов: внизу разбросанные хижины, окруженные зеленью каштанов и орехов, выше еловые леса, еще выше живописные скалы самых причудливых форм, грозно вздымающие свои головы, а внизу клубящийся поток, с ревом прорывающийся через теснины. В Айроло, где мы ночевали в самой простой, но необыкновенно чистой гостинице, с стенами украшенными изображениями подвигов Телля, на меня пахнуло духом мирной республиканской свободы. Рано утром мы переправились через Сен-Готард, частью идя пешком, и там, на вышине, среди голой каменистой пустыни, я увидел на скале надпись: Suworowus victorus, обличающую плохое классическое знание проходивших тут русских героев [1]. Затем мы спустились в долину Рейссы, и здесь, одно за другим, представились нам Андерматт, с свежими, ярко зелеными, нисходящими в долину пастбищами среди грозных утесов, клубящееся и пенящееся стремление Рейссы, смело перекинутой через нее Чертов мост, наконец Люцернское озеро, живописнейшее из швейцарских озер. Мы проплыли на пароходе мимо часовни Телля, которая вызывала в воображении целый рой исторических и поэтических картин, и остановились в Веггисе откуда я совершил свое первое значительное пешее восхождение. Мы пошли с братом на Риги, чтобы оттуда любоваться восходом солнца. Вечер был прелестный; Люцернское озеро, облитое теплыми лучами заката, представляло нечто совершенно волшебное; мне казалось, что я перенесен в какой-то очарованный мир. Однако, после первого часа пешего хождения, я с непривычки почувствовал такую усталость, что с некоторым смущением думал, как я доберусь до вершины. Но тут оказалось маленькое пристанище, где продавалось пиво; я выпил кружку и остальные два часа прошел так бодро и легко, что мог бы итти еще столько же.

Утром нас ожидало разочарование. Перед восходом солнца звонкий альпийский рог разбудил массу народа, ночевавшего в гостинице в ожидании великолепного зрелища. Все тотчас вскочили, наскоро оделись и побежали на площадку. Увы! ничего не было видно. Был дождь, холод, ветер; облака покрывали равнину и горы. Наконец, в какую-то скважину на небе проглянуло подобие красного луча, и толпа, удовлетворенная тем, что видела восхождение солнца, вернулась назад доканчивать свой сон. Это был пошленький интермеццо среди поэтических восторгов. Когда

[1] Должно быть: «Suworowus victor», т.-е. «Суворов победитель».

утром туман и дождь рассеялись, мы увидали тоже немного хорошего: вместо ожидаемого восхитительного ландшафта, перед нами расстилалась географическая карта, не представлявшая, в сущности, ни малейшего интереса, хотя любопытные, конечно, могли разглядеть на ней даже весьма отдаленные места. Но когда мы стали спускаться обратно, вид Люцернского озера в теплое и ясное утро опять предстал нам во всей чарующей прелести. Я убедился, что не нужно лазать высоко, чтобы наслаждаться красотами природы.

Из Люцерна мы через Цюрих и Констанцское озеро проехали в Тироль. Здесь опять нас сопровождал целый ряд самых очаровательных видов: скалы еще величественнее и разнообразнее, нежели виденные мною в Швейцарии, приютные долины, великолепные деревья, вместо больших озер маленькие ярко-изумрудные озерца, затерянные высоко в горах и так причудливо отражающие покрытую лесами окрестность; наконец, мирные села, на которых лежит печать патриархальной простоты, большею частью исчезнувшей в Швейцарии. Так, через Инсбрук и Зальцбург мы приехали в Ишль.

При всем том, я остался неудовлетворенным. Этот ряд быстро сменяющихся картин представлял мне подобие волшебного фонаря, в котором одно впечатление вытесняет другое и ни одно не успевает запасть глубоко в душу. На родине я привык с природою жить, наслаждаться в полном спокойствии ее тихою красотою, чувствовать внутри себя ее проникновение; а тут я не успевал восхититься одним, как уже на смену спешило другое. На каждом шагу хотелось остановиться, вдохнуть в себя и усвоить окружающее очарование, а вместо того мы стремились все далее и далее, так что в душе водворялся, наконец, какой-то хаос, в котором я не мог разобраться. Пребывание в Ишле послужило успокоением.

Мы остались там дней десять. Дела брата шли на лад. Ничто так не содействует поэтическому сближению, как интимная жизнь среди красот природы. Мы делали совокупные прогулки по прелестным окрестностям. Окончательное объяснение произошло в виду величественного водопада Waldbachstrub. Брат выехал из Ишля женихом. Он отправился в Вену, навстречу родителям, которые в это время решились ехать на зиму за границу. Отец уже несколько лет недомогал; у него открылась брайтова болезнь, и доктора советовали провести зиму в теплом климате. Брат думал устроить их в Ницце, где он мог жить вместе с ними и с невестою, не отлучаясь от своего места служения. Я же, с своей сто-

роны, направился в Лондон, и уже оттуда, через Париж, хотел приехать в Ниццу и повидаться с семейством.

Я ехал большею частью пароходом, любуясь живописными берегами величественного Дуная и прелестного Рейна. Но вдруг, на одной из пристаней тогдашнего великого герцогства Нассауского, на пароход, совершенно для меня неожиданно, вступила великая княгиня Елена Павловна со всею своею свитою. С ними был и князь В. Ф. Одоевскийй, с которым я тут в первый раз познакомился. Некогда московский архивный юноша и писатель с некоторым дарованием, он впоследствии обратился в весьма добродушного придворного, но продолжал серьезно заниматься всякими безделушками, что приобрело ему прозвание: великий человек на малые дела. Узнавши, что я направляюсь в Лондон, он тотчас поручил мне отыскать для него книгу сигналов, которой я, впрочем, не нашел и никогда не узнал, на что она была ему нужна. Великая княгиня ехала в Остенде купаться в море перед возвращением в Россию. Меня пригласили погостить там некоторое время, и я, разумеется, охотно согласился.

Опять пошли завтраки и обеды за гофмаршальским столом, прогулки с дамами по набережной, долгие вечерние разговоры у баронессы Раден, иногда беседы с великою княгинею. На поклон к ней приезжали и посторонние лица. Был тогдашний принц-регент прусский, впоследствии император Вильгельм, с которым мне довелось тут обедать. Как нарочно, перед самым столом у великой княгини сделалась сильная мигрень, так что принимала баронесса Раден. Весь разговор шел о разного рода салонных играх (petits jeux). Меня, разумется, это очень мало интересовало; но баронесса Раден объяснила мне, что страсть к этим играм составляет специальность всех царственных особ и что она даже по этому признаку заключила, что Людовик-Наполеон действительно царственного происхождения, а не просто выскочка, как он сам себя величал.

Был также бельгийский король Леопольд I; но я его не видал. Однажды барон после завтрака выпрямился во весь рост и важным тоном произнес: «Теперь я должен итти принимать короля». Мне рассказывали, что в разговорах с великою княгинею, король Леопольд все сетовал о том, что после смерти Николая Павловича всякая международная полиция в Европе прекратилась. Это не дало мне весьма высокого понятия о его столь прославленном уме.

Из русских, приезжал тогдашний посол в Париже, граф Киселев, один из самых близких друзей великой княгини. В то время я мог только любоваться его красивою и величественною фигурою; но, приехав в Париж, я узнал его ближе и нашел в нем не-

когда умного и тонкого, в то время уже значительно опустившегося старика, обратившегося в придворного, но сохранившего свои приветливые и аристократические манеры. По этому поводу я убедился, до какой степени придворная жизнь, даже при самых лучших условиях, налагает свои путы на человека. Когда я, побывавши в Париже, в первый раз свиделся с великою княгинею, она стала расспрашивать меня о графе Киселеве. Я откровенно сказал ей, что нахожу его опустившимся и думаю, что его друзья оказали бы ему услугу, если бы посоветовали во-время оставить свой пост. Когда я, после этого, на вопрос баронессы Раден, сообщил ей свой разговор с великою княгинею, она так расхохоталась, как будто я совершил нечто чудовищное. «Как, вы в самом деле сказали это великой княгине? — воскликнула она. — Да разве вы не знаете, что граф Киселев один из самых близких ей людей?» — «Потому-то я и сказал, — отвечал я; — она одна может дать ему полезный совет». — Но моя приятельница продолжала хохотать над моею наивностью. Я до сих пор думаю, что я был прав, и что Елена Павловна не была бы тою высокою женщиною, какою я ее знал, если бы ей нельзя было говорить подобных вещей. К сожалению, совет графу Киселеву дан был слишком поздно, когда министерство наделало ему неприятностей, стараясь всячески его выжить.

Как контраст с величавою осанкою графа Киселева, в одно время с ним приехал маленький, горбатый Александр Васильевич Головнин, с рыбьим ртом и в тщательно приглаженном парике. Он имел репутацию огромного ума и считался вдохновителем великого князя Константина Николаевича, при котором он был тогда секретарем. «Ришелье едет», — возвестила нам однажды баронесса Раден. Я спросил, правда ли, что он так умен. «Он вовсе не умен, — отвечала она. — Я назвала его Ришелье, потому, что он считает себя великим государственным мужем. Но он честный и хороший человек, всею душою преданный своему великому князю». При первом же свидании с Головниным я мог убедиться, до какой степени это суждение было верно. Приехав в Остенде, он пришел знакомиться со мною, не застал меня, и я на следующее утро отправился к нему. Он тотчас начал мне с важностью излагать подробную программу государственных преобразований, одним из двигателей которых был великий князь. Я, разумеется, со всем этим вполне соглашался, но заметил, что при громадности предстоящей задачи, когда все надобно перевернуть вверх дном и поставить на новых основаниях, меня пугает одно, именно недостаток подготовленных к такому делу людей. «Это не беда, — возразил Головнин. — Правительство само может создавать лю-

дей. Вот, например, великий князь Константин Николаевич послал человек сто за границу; они вернутся и будут у нас хорошо подготовленные люди». Я сказал, что на мои глаза, отправление чиновников за границу составляет весьма недостаточное подготовление для внутренних преобразований. Таким способом можно получить порядочных исполнителей, которые будут делать то, что им приказано, а у нас требуется совершенно иное: нужны люди, не только искусившиеся в государственных делах, но и хорошо знающие Россию, и притом независимые, способные не только быть орудиями, но и служить задержкою, если правительство пойдет по ложному пути. «Отчего же, и это легко сделать, — отвечал Головнин. — Надобно только, всякий раз как проявляется дух независимости, давать награды. Вот, например, граф Путятин заключил трактат с Японией, не имея на то никакого полномочия; за это ему пожаловали александровскую ленту». Услыхав такой удивительный способ поощрять дух независимости, я не выдержал, немедленно обратился в бегство и полетел рассказывать этот прелестный анекдот баронессе Раден и Дмитриеву. Приехав в Лондон, я сообщил его Герцену, и он говорил мне, что они с Огаревым, вспоминая о моем рассказе, валялись от хохоту по дивану, до такой степени мысль давать награды за дух независимости казалась им восхитительной. Действительно, редко приходится наткнуться на более типический анекдот.

Головнин был идеал петербургского либерального чиновника. У него был готовый рецепт на все: на всевозможные государственные преобразования, на устройство мест и приготовление людей, на воспитание наследника, на путешествие царственных особ, и — доходя до последних подробностей придворных церемоний. Он с одинаковою важностью, отчетливостью и расстановкою излагал первоклассные государственные меры и повторял от слова до слова телеграмму, извещающую о здоровье императрицы или об образе жизни великой княгини. Если у него случайно спрашивали: когда он едет? он тотчас с величайшею подробностью начинал объяснять, в котором именно часу с сколькими минутами он с своим великим князем приедет на железную дорогу, где они будут завтракать, где обедать, и именно с сколькими минутами остановки, когда, наконец, они прибудут на место, и сколько дней и часов там останутся. Также чрезмерно подробен он был и в делах. Первою и важнейшею задачею администрации он считал собрание целых фолиантов никому не нужных мнений и справок. А, между тем, он, в качестве либерала, свысока говорил о нашей бюрократии, о петербургском чиновничестве, не подозревая, что он сам насквозь проникнут их духом. Чтобы не на-

влечь на себя подозрения в бюрократических наклонностях, ему казалось совершенно достаточным призвать изредка какого-нибудь легенького журналиста, побеседовать с ним важно, как подобает государственному мужу, и сочинить что-нибудь ему в угоду, дабы этим приобрести популярность. Так он именно поступал впоследствии, когда сделался министром народного просвещения. Но при всей узкости и ограниченности своего ума, он действительно был по-своему человек честный. Великому князю он оставался предан до самого конца, был всегда верным другом своих друзей, даже впавших в немилость, хотя и для них он изобретал иногда удивительные рецепты. Когда, после издания Положения 19-го февраля Н. А. Милютин уехал за границу, Головнин вздумал пристроить его к Публичной Библиотеке.

Впоследствии, уже в новое царствование, когда Д. А. Милютин удалился в Крым на покой, Головнин постоянно извещал его обо всем, что происходило в Петербурге. Сам он в это время, оставаясь членом Государственного Совета, не играл уже никакой политической роли, но продолжал изредка давать тонкие обеды для избранного круга высокопоставленных особ, в том числе для великого князя Константина Николаевича. После каждого такого обеда он аккуратно присылал Дмитрию Алексеевичу, который всего менее был гастрономом, не только подробный меню, но при этом и рисунок стола, с означением мест, где кто сидел. Эта черта характеризует человека.

Среди всех этих старых и новых знакомств я в Остенде несколько зажился и насилу вырвался оттуда. Я поехал в Лондон пароходом через устье Темзы, и тут я в первый раз испытал все громадное впечатление современной промышленности. По обоим берегам реки тянулись бесконечные и разнообразные суда, верфи, фабрики и заводы; везде, шум, стук, свист; везде движение, жизнь, суета; повсюду облака угольного дыма, а внизу широкая Темза, несущая к морю свои мутные воды, загрязненные всякими промышленными и людскими отбросами. Все это производило на меня впечатление какой-то гигантской машины, работающей без устали, но руководимой разумом, неуклонно идущим к своей практической цели. Самый Лондон поразил меня контрастом серых домов, дымных улиц с толпящимся народом, с несметным количеством экипажей, и великолепных парков, которые кажутся как бы пустырями среди многолюдной столицы. Я не только усердно осматривал все достопримечательности Лондона, но ездил и по окрестностям, в Виндзор, Ричмонд, Кью, Гэмптон-Корт [1], где в

[1] Windsor — королевский замок, известный с XI в.; Hampton Court —

то время находились еще картоны Рафаэля, объехал весь остров Уайт, сидя на верху дилижанса с своим старым московским приятелем, графом Алексеем Васильевичем Бобринским, который был тут моим чичероне. Как страстный садовод, я особенно любовался английскими парками, великолепными деревьями, бархатными газонами, хотя находил несколько однообразным отсутствие всяких мелких произрастений. Я видел в этом образ самой Англии, где старая, ветвистая аристократия как бы выжила и вытеснила в город все остальное. Этому аристократическому величию, взлелеянному веками, я предпочитал более скромную русскую природу, где все растет на приволье.

Я виделся и с представителями в Лондоне русской дипломатии: с умным, но совершенно ко всему равнодушным бароном Брунновым, которому я был рекомендован великою княгинею; с Сабуровым, в то время первым секретарем посольства, впоследствии послом в Берлине, которого я знал с детства, и который встретил меня весьма дружественно. Он был тогда очень милый малый, неглупый, но прочного образования и серьезной подготовки у него не было, и он сам признавался, что совершенно выветрился в дипломатической карьере. Это он и доказал, когда был призван к настоящему делу. Руководствуясь в своих поступках не зрелыми убеждениями, а мелкими честолюбивыми целями и на лету схваченными мыслями, он скоро сломал себе шею.

Все это, однако, представляло для меня лишь второстепенный интерес. Главною целью моей настоящей поездки в Лондон был Герцен. Я слегка знал его в Москве, еще будучи студентом; но у нас были общие друзья, общие воспоминания и общие интересы. Мне хотелось основательно с ним переговорить о современном положении и посмотреть, нельзя ли направить его в смысле полезном для России. Его «Колокол» имел тогда громадное значение. Это была первая свободная русская газета, не стесненная никакою цензурою. Его жадно читали в Петербурге и в Москве. Каждый тайно привозимый из-за границы нумер ожидался с нетерпением и передавался из рук в руки. Здесь в первый раз обличалась царствующая у нас неправда, выводились на свет козни и личные виды сановников, ничтожество напыщенной аристократии, невероятные дела, совершающиеся под покровом тьмы, продажность всех облеченных властью. Назывались имена; рассказывались подлинные события. Перед обличением Герцена трепетали самые высокопоставленные лица. С подобным орудием в руках можно было достигнуть того, что было совер-

дворец в 12 милях от лондона, построенный в 1515 г с знаменитым парком; Kew-gardens — лондонский ботанический сад; Richmond — парк в окрестностях Лондона.

щенно недоступно подцензурной русской печати. Можно было действовать на недоумевающее правительство, сдерживать его и направлять на правильную стезю. Но именно в этом отношении «Колокол» был более чем слаб. Он скорее мог сбить с толку и правительство и общество, нежели указать какой-либо определенный путь. В нем выражался весь Герцен, огненный, порывистый, нетерпеливый, раздражительный, полный блеска и ума, но кидающийся в крайность и не умеющий оценить существующие условия жизни. Уже в «Полярной Звезде» обнаружилась полная его теоретическая несостоятельность. Все восхищались художественною прелестью, живостью и теплотою его воспоминаний, которые останутся одним из лучших памятников русской литературы; но нелепые социалистические статьи, наполнявшие это издание, приводили в негодование его прежних друзей. В «Колоколе» он от теоретических вопросов перешел к практическим; условия были необыкновенно благоприятны; но несостоятельность оказалась та же. Статьи печатались без всякой общей мысли, под влиянием совершенно случайных побуждений или присылаемых неверных известий. Издатель то писал восторженное письмо государю, под заглавием: «Ты победил, Галилеянин!» — и обещал быть верным слугою царю, если будут отменены крепостное право, телесное наказание и цензура, то вдруг без всякого серьезного повода, он забывал сказанное вчера, начинал беснoваться, ругал все и всех, печатал статьи с воззванием к топору. С умеренною и трезвою Москвою у него не было постоянных сношений; зато с Петербургом была непрерывная связь. Чернышевский с компанией шпиговали его всякими ложными известиями, всеми подобранными на улице сплетнями, всеми раздутыми новостями; они раздражали его впечатлительные нервы, и он приходил в негодование, раздражался потоком брани и становился слеп ко всему остальному. Я думал, что говоря с ним от имени его старых московских друзей, можно хоть сколько-нибудь умерить его неуместное раздражение и показать ему вещи в истинном свете.

Скоро я убедился, что это был совершенно напрасный труд. Я нашел прежнего Герцена, оставившего по себе столько воспоминаний в старой Москве, общительного, живого, бойкого, остроумного; разговор был блестящий и разнообразный; он лился потоком, переходя от одного предмета к другому, пересыпанный то живыми рассказами, то игривыми шутками, то острыми замечаниями. Это была неудержимая сила, сверкающая и пышущая во все стороны. Но под всем этим ослепительным фейерверком скрывалось полное отсутствие серьезного содержания. Даже то,

что было вынесено из России, погибло в крушении европейской революции. Еще живя в Москве, Герцен от гегельянской философии перешел к точке зрения реализма, с которою он по странному, но весьма распространенному смешению понятий, соединял самые крайние социалистические утопии. С этим умственным багажем он переехал в Западную Европу; но тут с первых же шагов, на его глазах, все его мечты рассеялись, как дым. И демократия, и социализм, в который он верил, как в новую религию, оказались несостоятельными. Герцен совершенно растерялся и не знал, где искать точки опоры. Вера в европейскую революцию исчезла; к революционерам, которых он видел вблизи, он питал глубокое презрение. В самом Прудоне, он, к великому своему прискорбию, замечал упадок. Как утопающий хватается за соломинку, он принялся возвеличивать русскую общину, в которой усматривал смутный зародыш какого-то социалистического будущего, тем самым сближался с славянофилами; но сам он ей не верил и в откровенные минуты признавался, что кидает пыль в глаза своим европейским друзьям. Он потерял даже веру в прогресс. Когда я заговорил с ним о развитии человечества, он мне сказал, что этим занимается Огарев, и молчаливый Огарев прочел мне какую-то белиберду о стадном чувстве и о движении по спирали. Я убедился, что в политических вопросах у Герцена подготовки не было ни малейшей и что он даже не способен их понимать. Я говорил ему о значении и целях государства, а он мне отвечал, что Людовик-Наполеон ссылает людей в Кайенну. Я говорил, что преступление должно быть наказано, а он отвечал, что решительно не понимает, каким образом учиненное зло может быть исправлено совершением другого, такого же зла. Все теоретические вопросы разрешались у него остроумными сближениями, юмористическими выходками. В сущности, у него был ум совершенно вроде изображенного им доктора Крупова, склонный к едкому отрицанию и совершенно неспособный постичь положительные стороны вещей. В практических вопросах дело обстояло еще хуже. Когда я указывал ему на необходимость трезвого и умеренного образа действий при предстоящих в России великих преобразованиях, он отвечал, что это чисто дело темперманента и ссылался на Лустало и Камилля Демулена, как будто французская революция имела что-нибудь общего с современным положением России. Ему казалось даже, что человеку с умеренным взглядом на вещи надобно поступать на службу, а стоящий вне правительственных сфер непременно должен обретаться в отрицании и крайностях. Я приходил в отчаяние.

Часто и всегда с большим удовольствием ездил я в Путней[1], где он тогда жил; но поболтавши с ним полдня, наслушавшись остроумных и занимательных речей, я возвращался опечаленный, ибо не видел в этом никакого добра для России. Весь этот крупный талант погибал в бесплодном бесновании, которое могло только сбить с толку неприготовленные и неокрепшие умы. Мне даже казалось иногда, что проповедуя умеренность можно ему повредить: он, пожалуй, лишится свойственного ему таланта, а серьезного слова все-таки не скажет. Но подобные опасения были напрасны. Никакая проповедь умеренности не могла на него подействовать: это было слишком противно его природе.

Мы расстались, однако, друзьями. При прощании он пошел проводить меня на железную дорогу, которая была недалеко от его дома, и уговаривал меня писать в «Колоколе», а он будет отвечать. Но я уже убедился, что всякие споры с ним будут бесполезны, и отказался. Однако я не выдержал. Я уехал в Париж, и он просил меня навести для него какую-то справку. В это время в Париже было получено известие о речи, сказанной государем московским предводителям дворянства, речи, в которой настойчиво выражалось намерение освободить крестьян. Посылая Герцену обещанную справку, я коснулся этой речи и сказал, что теперь ему опять придется воскликнуть: «Ты победил, Галилеянин!», после того, как он еще недавно печатал воззвание: «Крестьяне, точите топоры!» На это он мне написал, что ему с разных сторон делают подобные упреки и что он будет отвечать на них в «Колоколе». И точно, в следующем нумере появилась статья под заглавием: «Нас упрекают», в которой говорилось, что люди с горячим темпераментом увлекаются в разные стороны под влиянием ежедневных впечатлений, истощаются гневом и негодованием, падают и умирают в борьбе; доктринеры же не увлекаются, но и не увлекают других[2].

Меня это взорвало. Ссылаться на темперамент, отвечать легеньким издевательством, когда дело идет о благе отечества, о важнейших его интересах, о величайших преобразованиях, изменяющих весь его исторический строй, казалось мне недостойным не только возвышенного ума, но и благородного сердца. Под этим впечатлением я написал известное письмо, которое было напечатано в «Колоколе», в нумере 1 декабря 1858 года, и которое было первым протестом русского человека против политического

---

[1] Putney — пригород Лондона.

[2] Письмо Чичерина к Герцену от 11 октября 1858 г. напечатно в «Вольном слове» 1883 г., № 1; статья Герцена «Нас упрекают» — 1 ноября 1858, в № 27 «Колокола» (изд. Лемке, т. IX, № 1133).

направления лондонской эмиграции. Я высказал тут Герцену все, что давно накипело на душе. Я говорил ему, что, как единственный свободный орган русской мысли, он сила и власть в русском государстве; а, между тем, он пользуется своим положением не для того, чтобы в незрелом и столь долго приниженном русском обществе развить политическое сознание и направить его к разумной цели зрело обдуманными средствами, а для того, чтобы самому волноваться по всякому пустому поводу и волновать других. Вместо того, чтобы содействовать образованию у нас такого общественного мнения, какое требуется в настоящую знаменательную пору, мнения независимого, стойкого, но умеренного, с трезвым взглядом на вещи, с крепким закалом политической мысли, он приучает нас к раздражительности, к нетерпению, к неуступчивым требованиям, к неразборчивости средств. Я с негодованием восставал против иронического его замечания, что революция — поэтический каприз истории, которому даже мешать неучтиво. «Существенный смысл упреков, которые вам делают, заключал я, состоит в том, что в политическом журнале влечения, страсти должны заменяться зрелостью мысли и разумным самообладанием. Если такое требование есть доктрина, пускай это будет доктринерством. Вам такой образ действий не нравится; вы предпочитаете быстро перегорать, истощаться гневом и негодованием. Истощайтесь! Таков ваш темперамент: его не переменишь. Но позвольте думать, что это не служит ни к пользе России, ни к достоинству журнала, и что во всяком случае нечего этим величаться»[1].

Прежде, нежели посылать письмо в Лондон, я показал его Каченовскому, с которым часто видался в Париже. Дмитрий Иванович Каченовский, профессор международного права в Харьковском университете, был человек несильного ума и небольшого таланта, с довольно узко либеральным взглядом, но чрезвычайно многосторонне и основательно образованный, с поэтическою душою, большой любитель искусства, и очень приятный в личных отношениях. Он видался с Герценом в Лондоне и так же, как и я, был поражен отсутствием у него всякого серьезного основания. У людей, знакомых с политическими науками, на этот счет не могло быть двух мнений. Герцен был художник, а не публицист. Гуляя с Каченовским по парижским бульварам, мы зашли в какую-то кофейную, и я прочел ему свое письмо. Он вполне его

[1] Письмо Чичерина к Герцену появилось в «Колоколе» 1 декабря 1858 г. (№ 29); в сокращенном виде оно было напечатано Чичериным в книге «Несколько современных вопросов» (М. 1862). Лемке издал его в IX т. Полн. собрания сочинений Герцена (стр. 409—418).

одобрил: «Вы ничего лучшего не писали, — сказал он мне. — Посылайте непременно».

Эффект был значительный, и притом в противоположных направлениях, так что Герцен мог думать, что я свое дело проиграл, а я вполне добросовестно мог думать противное. С этой минуты резко обозначились два противоположные лагеря, на которые разделялось русское общество. С одной стороны, я получал многочисленные заявления сочувствия. Все московские друзья были на моей стороне. Кетчер с Бабстом написали даже по этому поводу к Герцену письмо, на которое он и им отвечал обычным своим издевательством, так что Кетчер с негодованием бросил его ответ в камин. Катков молчал, но на следующий год, задетый, в свою очередь, Герценом, он разразился против него бешеною ругатнею, что окончательно разделило обе партии [1]. Из Петербурга я также получал выражения сочувствия, между прочим, от того лица, мнение которого я выше всего ценил, от Н. А. Милютина. Но бо̀льшая часть петербургских литераторов на меня восстали. Что Чернышевский печатно выступил против меня в поход, в этом не было для меня ничего удивительного. Социалист по убеждениям, он был главным заправилою той безумной агитации, которая тогда уже начиналась в среде русской молодежи. Но, к крайнему моему изумлению, на меня всеми силами ополчился Кавелин, с которым мы до тех пор шли рука об руку, который первый направил меня на настоящий путь и сам участвовал в письме к издателю «Голосов из России», писанном совершенно в том же духе и с теми же взглядами, как и письмо, напечатанное в «Колоколе». Я получил от него длинное послание, к которому приложены были и подписи некоторых других лиц, а именно: Бабста, Тургенева, Анненкова, Галахова, Маслова, Н. Н. Тютчева и Скребицкого. В резких выражениях меня упрекали в том, что я клевещу на Герцена, приписывая ему революционные стремления, и действую на руку графу Панину и тому подобным реакционерам. Меня просили, по прочтении письма, отослать его к Герцену, как выражение полного ему сочувствия. Я это и сделал. Мудрено ли после этого, что Герцен совершенно сбивался с толку и не внимал никаким благоразумным советам?

Причина такого внезапного поворота в образе мыслей Кавелина объясняется происшедшею с ним служебною катастрофою. В это время наследник Николай Александрович, вошел уже в те лета, когда надобно было подумать о его воспитании, до того времени непростительно заброшенном. Руководить им призван был

[1] Чернышевский напечатал в № 32—33 «Колокола» за 1859 г. «Письмо к издателю «Колокола» по поводу «Обвинительного акта» г. Чичерина»

Владимир Павлович Титов, некогда принадлежавший к московскому литературному кружку, затем вступивший в дипломатическую карьеру и бывший перед войной посланником в Константинополе, человек честный, благородный, с разносторонним образованием, о котором остроумный поэт Тютчев говорил в шутку, что он создан был для того, чтобы составить инвентарь творения, но совершенно неспособный к педагогической деятельности. Он пригласил Кавелина давать уроки наследнику; но Кавелин, который был отличный профессор, с своей стороны вовсе не имел нужных качеств для того, чтобы преподавать плохо приготовленному мальчику. Я сам впоследствии слышал от наследника, что он решительно ничего не понимал в его лекциях. Ему нужно было начинать почти с азбуки, а ему читали высшие юридические теории. Между тем, окружающие государя были очень недовольны этими назначениями. Кавелин, постоянно вращавшийся в петербургских либеральных кружках и весьма несдержанный на язык, имел легко расточаемую репутацию красного. На беду, он невольно подал против себя оружие. В «Современнике» были напечатаны большие выдержки из его проекта освобождения крестьян, в котором проводилась мысль об единовременном всеобщем выкупе без всякого переходного состояния[1]. Против этого плана можно было многое возразить; но преступного, очевидно, в нем ничего не заключалось. Между тем, государю дело представили в таком виде, будто Кавелин хочет подорвать доверие к правительству, критикуя благие его предположения и стараясь проводить собственные, крайне либеральные мысли. И вдруг, без всякого повода, даже не предупредив Титова, Кавелина устранили от преподавания наследнику. Мера, без сомнения, была весьма несправедливая. Титов обиделся и подал в отставку. То же сделал и князь Григорий Алексеевич Щербатов, пропустивший статью в «Современнике», а Кавелин просто остервенился. Он в личных вопросах был крайне щекотлив и никогда не забывал нанесенной ему обиды. Это была темная сторона его чистого и благородного характера. С тех пор он сделался рьяным врагом правительства, порицал все, что делалось, слушал всякие сплетни и не хотел видеть величия преобразований, изменявших весь строй русской жизни. После смерти Александра II, он уве-

[1] Первые две главы I части «Записки об освобождении крестьян», написанной К. Д. Кавелиным в 1855 г., были напечатаны в 1856 г. в «Голосах из России», кн. III (2 изд. в 1858 г.). Извлечение из «Записки» появилось в «Современнике» в 1858 г., кн. IV, апрель, под заглавием: «О новых условиях сельского быта». Целиком напечатана в «Русской старине» за 1885 г. и вторично в Собр. сочинений Кавелина (изд. Н. Гоголева), т. I, стр. 6—88.

рял, что если на одну сторону весов положить то, что он совершил хорошего, а на другую все, что он сделал дурного, то первое окажется совершенным ничтожеством перед вторым. Он дошел даже до того, что защищал цареубийц. До такой степени этот страстный человек ослеплялся, как скоро он задет был лично. В первые минуты ярости он поовал даже с Титовым, который из-за него оставил свое место. Он порвал и с великою княгинею за то, что она, по возвращении в Россию, не тотчас за ним прислала. Когда он через несколько времени получил от нее приглашение, он не поехал. Баронесса Раден, которая сохранила с ним дружеские отношения, строго его осуждала.

Под влиянием таких-то впечатлений он написал упомянутое послание, в котором, отрекаясь от своей точки зрения, он поямо становился на сторону легкомысленной агитации Герцена. Имена других, подписавшихся под это послание литераторов, показывали однако, что тут было не одно личное раздражение. Имя Бабста, хотя он был из числа московских моих приятелей, не много для меня значило; я знал, что по бесхарактерности, он не сумеет противостоять влиянию соеды, и подпишет все, что угодно. Действительно, вернувшись в Москву, он вместе с Кетчером написал Герцену письмо совсем в другом смысле. Но когда Тургенев, Анненков, даже мягкий Галахов считали нужным протестовать против моих обвинений и выразить сочувствие Герцену, то это обнаруживало невообразимый туман, воцарившийся в петербургской атмосфере. Совершенное отсутствие всякого здравого политического понимания, укоренявшаяся привычка вечно бранить правительство, преувеличенное значение, придаваемое всяким ходячим сплетням, наконец, полное ослепление насчет существования в России революционных стремлений, которые тогда уже зарождались и вскоое выразились в нигилизме, вот, что я увидел в этом письме. Мне говорили, что я клевещу на Герцена, выставляя его революционером, когда он сам высказывал полное равнодушие к средствам, называя революцию поэтическим капризом истории, которому даже мешать неучтиво. Меня уверяли, что я действую на руку реакционной партии, когда я проповедывал благоразумие и хладнокровие. До какой степени петербургская среда отуманивала самые трезвые умы, можно видеть из того, что даже умеренный и здравомыслящий Никитенко занес в свой дневник, что хотя способ действия Герцена вреден, но мое возражение, может быть, еще вреднее, ибо вызывает реакционные меры[1]. Как будто реакционные меры вызывались не тою самою

[1] А. В. Никитенко пишет в своем дневнике под 8 января 1859 г.: «В 29 № «Колокола» прочитал письмо к Герцену, приписываемое Чичерину,

агитациею, против которой я восставал! Единственное, что могло удержать правительство, это — указание, что в самой литературе является отпор этому беснованию. В действительности, все эти опасения были совершенно напрасны; никаких реакционных мер не последовало.

Вот письмо Кавелина, копию которого я сохранил:

«Почтеннейший и любезнейший Борис Николаевич.

«Я получил письмо Ваше из Ниццы, от 8 декабря, когда уже прочел Ваше письмо к Герцену, напечатанное в 29-м нумере «Колокола». И прежде и после письма ко мне, я ни на одну минуту не сомневался в чистоте и благородстве побуждений, внушавших Вам горькие укоры Искандеру; но не могу не сознаться, что действие их на меня было тем тяжелее и горестнее, чем значительнее Ваше имя в нашей литературе и чем я тверже убежден в Вашей нравственной безупречности. Если бы письмо Ваше к Герцену было написано человеком мне совершенно неизвестным, я бы отвечал ему в самом «Колоколе». К несчастью, письмо писали Вы... и у меня отваливаются руки.

«Основная мысль Вашего письма, как нельзя вернее. После первых взрывов негодования на порядок дел, какой у нас есть, на лица, которые стоят у нас на первом плане, давным давно следовало серьезнее подумать о том, что предстоит делать, чего ожидать, по какому направлению итти. К сожалению, не только одна лондонская, но и русская наша литература, с этой стороны, сильно смахивает на фразу, мало питая ум.

«Если бы Вы сказали только это, Вы были бы совершенно правы; но рядом с тем Вы сказали много такого, чего сказать, конечно, не хотели.

«Не стану говорить об том, что Вы не имели никакого права так жестоко, с высоты величия, говорить с человеком, которого, кроме большого имени и положительных заслуг, ограждают от всяких оскорблений великие несчастия и страдания. С этой стороны и защитники и порицатели Вашего письма равно не одобряют Вас. Из коротенького оправдания Герцена, напечатанного перед Вашим письмом, я вижу, что он не только обижен, но опечален и сконфужен таким неожиданным посланием. По тону его ответа я вижу, что от Вашего письма у него сердце переверну-

---

в котором Герцена упрекают от имени всех мыслящих людей в России, за резкий тон и радикализм. Это, конечно, отчасти справедливо, и Герцен вредит своему влиянию на общество и на правительство. Но возражение, ему сделанное, кажется, еще вреднее. Оно как бы оправдывает крутые меры и вызывает их». (2-е изд. под ред. М. К. Лемке, т. I. стр. 543). Дневники Никитенки впервые были напечатаны с купюрами в 1888 г. в «Русской старине», и затем изданы отдельной книжкой в 1893 г. Стр. 86.

лось в груди. Его убивает мысль: неужели все мыслящее в России судит обо мне так бессердечно? На Вас лежала обязанность, если Вы раз решились укорять Герцена печатно, сделать это со всем возможным уважением к его личности и его злосчастной судьбе. Отсутствие и тени этого уважения, холодная беспощадность Ваших упреков, напоминающая бюрократическое «поставление на вид» начальников подчиненным, производит тяжелое и грустное впечатление.

«Но если бы письмо Ваше было только холодно и безучастно к человеку, оно было бы несправедливо только к нему, но могло бы быть справедливо по существу дела. К сожалению, нельзя сказать и этого. Увлекшись желанием как можно ярче выразить свою мысль, с которою, повторяю, все согласны, — Вы прибегли к аргументам ложным, к клеветам, Вы непростительно искажаете истину.

«Укажу на главное.

«Вы особенно упираете на ту фразу в корреспонденции «Колокола», где крестьяне приглашаются точить топоры. Фраза эта действительно нехороша. Но скажите пожалуйста, какое право имели Вы, выводя из этой фразы, что Герцен желает революции в России, не привести множества других фраз из других нумеров «Колокола», в которых не только корреспонденты, но и сам редактор положительно выражают желание, чтобы предстоящие реформы совершились у нас мирно и спокойно, без крови и жертв. Если бы не Вы так играли этой фразой, а кто-нибудь другой, я увидел бы в этой игре не ораторский оборот речи, а преднамеренную клевету и недобросовестность.

«Вы говорите, что Герцен равнодушен к гражданским реформам, что ему все равно, сделается ли дело актом деспотизма или актом революции. Вы фехтуете с необыкновенным искусством против него его же собственными словами, чтоб доказать ему и убедить других в том, что реформа и революция для него все равно. А так как Герцен давно уже пользуется у нас репутацией красного революционера, и притом Вы в своем письме ловко указываете на воззвание к топорам, с умолчанием желаний мирной реформы, то и остается впечатление, что, собственно говоря, Герцену смертельно хочется революции в России. Если Вы хотели выразить эту мысль, то я могу поздравить Вас с совершенным успехом. Справедливость, конечно, требовала упомянуть и о другом смысле тех же слов, которыми Вы так искусно пользуетесь, чтобы доказать революционные цели редактора «Колокола». Вы, я, все мы без исключения убеждены в том, что если правительство не проведет реформы мерами административными, то

она совершится путем революции; Герцен мог хотеть выразить именно эту мысль. Но какое дело до того, что именно он хотел выразить? В плане оратора лежало доказать, что Герцен — революционер и желает произвести революцию в России, и потому, разумеется, следовало воспользоваться его словами в этом смысле. Истина и намерение — дело второстепенное. В ораторских состязаниях, кто станет об них серьезно думать?

«У Вас встречается также фраза и о том, как было бы плохо, если бы в недрах нашего отечества завелось несколько «Колоколов». Спасательное предостережение, особенно для России, где лица высшего управления ежеминутно твердят государю, что наша литература раздувает пламя, расжигает страсти! Скажите, ради бога, в чью пользу делаете Вы такие нападки? Не пожива ли это Паниным с компанией?

«Итак, дело решенное: Герцен революционер, «Колокол» призывает к революции и даже призывает с успехом. Вы говорите в одном месте Вашего письма: «топор еще не в таком ходу, мы к нему не так привыкли, но судя по письму, напечатанному в «Колоколе», и это средство начинает приобретать у нас популярность». Вот что значит, Борис Николаевич, ораторское искусство! Захочешь опровергнуть противника, а глядь — своих оклеветал. Вы сумели отыскать в России любителей топора, которых мы не знаем, и которых до смерти хочется отыскать Тимашеву с собратиями. С каким пренебрежением, даже презрением — трактуете Вы наше горе и наши страдания! С издания рескриптов 20 ноября и 5 декабря, чего, чего, боже великий, мы не натерпелись и не вынесли! В феврале мы видели, как Главному комитету удалось обойти государя в истолковании усадеб; в марте реакция сказалась еще решительнее. Положим, что для Вас все равно, будет ли мужик освобожден с землею или без земли, пройдет ли он через чистилище срочно-обязанных отношений или не пройдет: для нас же это далеко не все равно. Для нас такое или другое решение совпадает с спокойным или революционным выходом из теперешнего нашего положения. Теперь и правительство в этом убедилось. Могли же и мы так думать, не заслуживая еще за это ни презрения, ни насмешки! И мы глубоко страдали. Дело освобождения крестьян, наш якорь спасения, стало быстро двигаться назад. В мае меня прогнали от наследника, как человека в высшей степени опасного, за то, что я осмелился прямо поставить вопрос о выкупе земель в «Современнике»; в журналах запрещено говорть о выкупе; по тому же поводу кн. Щербатов должен был оставить свое место. Все эти события навели общее уныние на все, что есть либерального и просвещенного в России. Но когда

издана была Главным комитетом известная Вам программа в руководстве дворянству разных губерний, когда огласилось намерение правительства поставить всю Россию в осадное положение посредством уездных начальников и генерал-губернаторов, тогда объяты были ужасом не одни либеральные и просвещенные люди, но и самые реакционеры. Настроение умов в то время напоминало 1849 год и последующие годы минувшего царствования. Что я не преувеличиваю, — это могут засвидетельствовать Вам люди всех мнений, и друзья и враги Ваши. Всякий, кто был в это время в России, кто испытал и видел тогдашнее настроение, не без глубокого негодования прочтет следующие высокомерные и жестокие слова из письма Вашего: «и откуда вся эта тревога? по какому поводу возгорелось негодование? Право, когда подумаешь об этом, становится и грустно и смешно. Не прошло еще и года с тех пор, как государь высказал твердое намерение преобразовать старое крепостное право... что-же случилось в этот промежуток?.. Ну скажите, не похоже-ли это на шутку?» Не знаешь, что и подумать, читая эти слова, пересыпанные рассуждениями о важности вопроса, о невозможности решить его сразу. Правительство действует мудро, строго и осторожно, преследуя зрело и дальновидно обдуманный план освобождения крестьян; все идет своим порядком; ничего особенного не случилось: о циркуляре Муравьева собственно и говорить не стоит. А мы, в легкомыслии и безумии нашем, думали, что вопрос о реформе и революции висит на волоске, что Муравьев, Ростовцев и другие, интриговавшие у государя под носом, пользовавшиеся в то время огромным его доверием, могут загубить все дело! В самом деле, какие мы жалкие безумцы! Ничего мы более и не заслуживаем, кроме презрения за свое легкомыслие.

«Не забудьте, что письмо Ваше имеет политическое значение, что оно скреплено авторитетом Вашего имени, — имени уважаемого и очень известного в России. Вы сами принадлежите к либеральной партии; находитесь в связи или в сношениях со всеми либеральными кружками и во всех подробностях знаете их стремления, цели, надежды, высказываемые и невысказываемые печатно. Свидетельство и отзывы такого человека в глазах правительства чрезвычайно важны. Само оно мало понимает смысл теперешнего литературного движения; тайная полиция, как гончая собака, вынюхивает только красного зверя, но, как 30-летний опыт доказал, часто слишком увлекается своею специальностью и потому тоже судья не беспристрастный; наконец, реакция, враждебная всякому движению, столько же подозрительна в своих суждениях, как и тайная полиция. Как же узнать истину? Ка-

кая тайна скрывается в этих людях и в их мыслях? И вот, выступает один из них добровольно и раскрывает тайну. Признаться, то, что он говорит, заключает в себе мало утешительного; давнишние подозрения и опасения правительства, к несчастью, оказываются совершенно справедливыми. Оно давно предполагало, что цель Герцена произвести революцию в России, что с этою собственно целью и издается «Колокол»; что в обществе при помощи «Колокола», революционное направление растет и усиливается и в этом его поддерживают наши литературные органы. Правительство давно уже догадывается, что на мудрые его виды и предначертания относительно освобождения крестьян нападают, с одной стороны, реакционеры, а с другой, революционная партия, желающая воспользоваться этим государственным вопросом, чтобы произвести насильственный переворот в России. И что же? Все эти догадки оправдываются, как нельзя более! Из среды этой самой партии отделяется один из самых блестящих ее представителей. Он и в лице его «значительная часть мыслящих людей в России», от имени которых он говорит, сами ужаснулись этой партии, с которою они до сих пор шли вместе. Должно быть дело зашло уже слишком далеко, когда лучшие чувствуют себя вынужденными отказаться от бывших своих единомышленников! Должно быть, положение становится критическим, когда из груди этих лучших вырываются подобные признания об тех, которые стояли с ними в одном лагере.

«Не думайте, чтобы я преувеличивал. В высших кружках все от письма Вашего в восторге. «Либеральная партия решилась покончить и разорвать с партией революционной», — вот стереотипная фраза, которою приветствуют Ваше письмо в дворцах и высших административных сферах. Этого ли Вы хотели, Борис Николаевч? Единственный упрек, который Вам делают, есть тот — зачем Вы не представили Вашего прекрасного и благородного письма, до его напечатания, на одобрение правительства; оно бы непременно одобрило — письмо так хорошо, но испросить разрешение все-таки следовало. Отзыв этот идет от князя Долгорукова. И они правы. Письмом Вашим Вы оказали им существенную услугу. Такой помощи и поддержки они, конечно, не ожидали. Письмо Ваше неопровержимый документ, на который они с торжеством и гордостью могут ссылаться теперь при преследовании своих целей.

«Я понимаю, что можно не соглашаться с противником, наговорить ему самых жестоких вещей; я допускаю возможность, разорвавши с партией, которая идет слишком далеко, высказать против нее обвинение, которое, по бывшим близким моим отно-

шениям к ней, я, собственно говоря, не должен бы высказывать. Что делать, это — несчастие, это — трагическое положение. Тут сталкивается общественное благо с моими личными обязанностями, и я мог предпочесть первое последним. Но я спрашиваю Вас: думаете ли Вы серьезно, положа руку на сердце, что Герцен преднамеренно раздувает революцию в России и что в России есть революционная партия? Если Вы это думаете — Вы можете быть правы перед своим убеждением и своею совестью, что написали это письмо, но я с Вами не согласен и с скорбью должен отдалиться от Вас, потому что считаю такое убеждение не только совершенно ложным, но и крайне вредным. Если же Вы этого не думали, как же решились написать? Как же Вы могли доставить всей этой безмозглой челяди, наполняющей наши дворцы и салоны высшего круга, радость оправдывать свои отупелые и злонамеренные инсинуации авторитетом Вашего благородного имени? Ведь это значит продать свое право первородства — и за что-же? за блюдо чечевицы. Нас же, друзей Ваших, Вы поставили в самое нелепое положение: перед одними опровергать взведенные Вами клеветы, а перед другими защищать чистоту и благородство Ваших нравственных побуждений!

«Право, какое-то проклятие лежит на нашей литературе и на самой нашей мысли. Или у человека страсть говорить, и он говорит — ничего, или он имеет, что сказать, а станет говорить— выходит совсем не то, что он хотел сказать. Такому хаосу мыслей и слов видно предстоят Мафусаиловы лета.

«Я не желаю, чтобы это письмо было напечатано в «Колоколе», или где бы то ни было; но если в Ваших намерениях не лежало высказать печатно все то, в чем Вы клевещете на Герцена, на «Колокол», на русское общественное мнение, на русское правительство (считая его мудрым), на русскую литературу, то я прошу Вас сообщить это письмо в Лондон Герцену для собственного только сведения. Для пользы дела необходимо, чтобы он слышал разные мнения и мог извлечь из них то, чего ему необходимо придерживаться при дальнейшем издании «Колокола».

К. Кавелин.

С.-Петербург, 8 января 1859 года.»

К сожалению, я не мог отвечать на это послание, так, как мне хотелось. Я получил его в Ницце, откуда не было оказии в Петербург. Приходилось писать по почте, следовательно умалчивать обо всем, что могло бы сколько-нибудь скомпрометировать Кавелина. Я не мог даже напомнить ему, что еще недавно он стоял на той самой точке зрения, которую теперь так резко осуждал.

Только обиняками мог я отвечать на его обвинения. Воспользовавшись тем, что к посланию было приложено письмецо, касавшееся личных его обстоятельств, я написал следующее:

«Вы не можете себе представить, любезнейший Константин Дмитриевич, как мне грустно было получить Ваше письмо, грустно в особенности за Вас: Ваше расстроенное здоровье, стесненные обстоятельства, невозможность даже приняться за работу, все это до крайности печально. Надобно Вам непременно съездить за границу или в деревню подышать другим воздухом, забыть все волнения. Если будете за границею, не минуйте Гейдельберга, где я поселяюсь с мая. Тогда мы с Вами на досуге переговорим о многом, чего в письме не перескажешь. Теперь скажу Вам только несколько слов о последнем своем письме. Я слышал о нем много разноречащих отзывов, но в сумме более одобрительных, нежели иных. Взвесив все, что было мне говорено, я могу сказать, что не только совесть моя чиста, но что к сознанию высказанной правды присоединяется еще сознание принесенной пользы. Я не ожидал такого успеха. Успехом я считаю, как возбужденные прения, которые ведут к выяснению мысли, к обозначению направлений, так и то, что письмо было принято за желание либеральной партии разделаться с революционными стремлениями. Одного я не признаю — существование у нас партий. У нас есть только общественное шатание, в котором все бродит, как в хаосе. Затем я именно желал выразить протест либерализма против легкомыслия и раздражительности, которые во мне и во многих других возбуждают негодование. Люди серьезные, либеральные, которых мы с Вами уважаем, сомневаются даже в добросовестности И[скандера]: он бьет на эффект, он хочет играть роль — вот отзывы, которые я слышал много раз. Я, впрочем, не считаю его ни недобросовестным, ни даже революционером, разумея под этим словом человека, имеющего последовательное направление. О н п р о с т о н и ч е г о н е п о н и м а е т. У него нет ни такта, ни мысли. После крушения его надежд в 48-м году, он бродит наобум, под влиянием случайных впечатлений и своей раздражительной натуры. Вы, может быть, думаете, что я преувеличиваю. Сошлюсь на человека, который знает его так же хорошо, как я, с которым я советовался при посылке письма и который так был им доволен, что сказал мне: «за это письмо я прощаю вам статью о Токвиле; вы высказали то, что я давно хотел сказать». Когда я назову Вам Каченовского, Вы поймете, что я мог совершенно полагаться на его благоразумие и беспристрастие. Заявить разрыв — это я хотел и считаю полезным, потому что оно удовлетворяет чувству многих и многих людей с

хорошим направлением. Защиты же я на себя ничьей не брал. А можно бы, и очень сильно. Дело в том, что надобно прежде вырвать бревно из собственного глаза, а потом уже кричать о былинке в глазах другого. Я в России пришел к убеждению, что у нас общественная сфера хуже оффициальной. На счет большинства нашего общества Вы будете согласны: оно состоит из помещиков-консерваторов и чиновников-взяточников. Остается так называемое образованное меньшинство. Что же оно такое? По-моему, журнальные кулисы не лучше петербургских передних. В России едва найдется 4—5 человек, на которых можно положиться, с которыми можно действовать. Как вспомнишь, например, недавно еще животрепещущий спор с славянофилами, как подумаешь, об чем и как он был веден, право, стыдно и за себя и за других. Я в этом случае беспристрастен: я в этом споре играл одну из главных ролей, я в нем составил себе репутацию, стало быть самолюбие должно заставлять меня преувеличивать его значение. Но я из всего этого вынес одно: сознание бесплодно затраченных сил и глупо приобретенной репутации. После этого Вы поймете, если я скажу Вам, что я выехал из России с глубочайшим отвращением от существующей у нас общественной среды — от бестолковой брани, от возмутительного легкомыслия, от пренебрежения к труду, от раздражительного самолюбия, от самодовольного невежества, от ничем не возмутимой наглости и от беспредельного эгоизма. Вы поймете, что я к общественному мнению в России совершенно равнодушен; я даже не признаю его существования. Я ценю мнение некоторых людей, которых знаю и уважаю, а затем пусть говорят даже, что я себя продал. Я до такой степени презираю эти толки, что они доставляют мне даже некоторое удовольствие. Нам ли возопить против других? Если у нас делается что-нибудь порядочное, так это единственно благодаря правительству. Оно подняло вопрос об освобождении крестьян, который без него покоился бы еще 50 лет и никто бы не думал его трогать. К чему же раздражаться, если он в частностях идет не так, как желаете Вы, другой или третий? А в общем он идет хорошо, своим порядком. Пропустить крестьян через чистилище срочно-обязанных отношений я считаю не только полезным, но даже необходимым, и не желал бы, чтобы дело совершилось иначе. Я, может быть, неправ; это вопрос спорный. Но во всяком случае возопить против этого и считать все погибшим нет возможности. К другим административным реформам я, признаюсь, довольно равнодушен. Все, что делается и думается в Петербурге, имеет слишком мало значения для страны. У нас по всей земле разлита еще такая патриархальная тупость, о которую

сокрушается и хорошее и дурное. Для нас нет опасностей, но зато у нас бесполезны и сила воли и энергия труда. Мы растем, как растения, по естественному закону природы. Это и горько и утешительно. Каждый из нас должен сосредоточиться в своей сфере, итти своим путем, по внушениям мысли и совести, мало обращая внимания на то, что делается кругом. Только этим способом мы выучимся действовать в ограниченном круге, чего мы еще не умеем. Мы всего требуем от правительства, мы хотим все бóльшего и бóльшего простора, мы жалуемся и выезжаем на стереотипных фразах, а пользоваться тем, что есть, мы решительно не умеем. Мы даже не умеем высмотреть, можно ли что сделать и где. Что касается до бескорыстной работы, то об ней почти нет и помину, а это первая основа крепкой гражданственности.

«Вот Вам мое profession de foi. Оно, может быть, не совсем утешительно, но зато искренно и внушено не случайными впечатлениями. Порукою тому служит то, что вот уже почти год, как я выехал из России. Вчуже успокаиваются мысли и чувства; из разнообразных фактов выходит общее впечатление и составляется суждение настолько беспристрастное, насколько допускает это натура человека. А между тем, я все-таки Россию люблю и посвящу ей свою жизнь и не хотел бы жить вне отечества. Цель моя одна — в частной сфере действовать для общественного развития. Цель эта, разумеется может быть достигнута только через десятки лет,* но в этом только я вижу залог прочного будущего. Остальное все случайно.

«Прощайте, крепко и крепко жму Вам руку. Будьте здоровы, приезжайте за границу, и тогда мы с Вами потолкуем в Гейдельберге».

Я, конечно, не без намерения сгустил краски в изображении господствовавшего у нас в литературе и в обществе легкомысленного отношения к жизненным вопросам, в защиту которого выступали Кавелин и его единомышленники. Меня возмущал этот близорукий взгляд на все окружающее, эта задорная манера во что бы то ни стало чернить все исходящее сверху и извинять все исходящее снизу. Меня сердили и взводимые на меня нелепые обвинения, будто я выдаю каких-то людей, с которыми я прежде шел рука об руку. При всем том, в итоге оценка была верна. Русское общество, почувствовавшее свободу после долгого гнета, шаталось, как узник, из мрачной темницы внезапно выпущенный на свет божий. Его надобно было успокаивать, а не возбуждать, под опасением вызвать сильнейшую реакцию. Отсутствие внутреннего равновесия именно и повело так скоро к владычеству Каткова и компании. Мысль, что Россия растет как дерево, своим орга-

ническим ростом, без участия мысли и воли человека, я нередко повторял и впоследствии.

На мое приглашение Кавелин действительно прибыл следующим летом в Гейдельберг, известив меня заранее, что он едет со мной ссориться. Шесть месяцев прошло со времени появления моего письма, а он все еще продолжал кипятиться. Наконец, обедая со мной вдвоем в ресторане, он объявил мне, что с людьми высказывающими подобные мнения, надобно совсем разорвать. Я в то время не придал этой выходке серьезного значения. Мне казалось совершенно невозможным разойтись с близким человеком за то, что он требует умеренности и обдуманности в действиях, когда притом, не более как год тому назад, Кавелин сам вполне разделял эти взгляды и все, что произошло с тех пор, могло только подтвердить их необходимость. К счастью, в ту минуту, как он предавался своему напускному негодованию, мимо нас проходил старик Велькер. Я встал, чтобы с ним раскланяться, и он остановился со мною поговорить, а Кавелин, взволнованный, пошел ходить взад и вперед по саду. Когда мы опять сели, кризис прошел, и о разрыве не было более речи. Мы вместе с ним поехали в Франкфурт, где в то время находились Станкевичи; мы жили там два дня, спали в одной комнате, спорили до трех часов ночи, но расстались друзьями. В откровенные минуты он даже признавался, что говорит под влиянием личного оскорбления. Он поехал в Лондон к Герцену, а я вернулся в Гейдельберг.

Но тут опять случилось обостоятельство, которое едва не привело к разрыву. Еще прежде, нежели я получил послание Кавелина, Мельгунов, который тоже был за границею, писал мне, что он, по поводу моего письма в «Колоколе», переписывался с Герценом, и защищая меня против упрека, что я действовал под влиянием раздраженного самолюбия, указывал на то, что я совершенно те же мысли высказал в «Письме к издателю» в «Голосах из России». Я, с своей стороны, при случае написал Герцену, что Мельгунов не совсем точно назвал меня автором письма к издателю «Голосов», ибо мне принадлежит только вторая часть, первая же написана Кавелиным.

Когда вскоре после того Кавелин приехал в Лондон, Герцен показал ему мое письмо, и тот воспылал негодованием. Ему представилось, что я хотел, по его выражению, очернить его перед революционным комитетом. В то же лето я приехал на несколько дней в Остенде и тут узнал, что Кавелин находится в соседнем Бланкенберге, и злится на меня страшно. Мы отправились к нему с баронессой Раден и Дмитриевым, и после короткого объяснения наедине буря опять пронеслась. Я представил ему, что мне в

голову не могло притти, чтобы он захотел утаивать от Герцена свое участие в рукописной литературе и в «Письме к издателю». Мы принуждены скрывать это в России, чтобы не навлечь на себя жестокой кары, но в Лондоне нет причины не говорить об этом явно, не скрывая своих убеждений и не слагая с себя ответственности за высказанные мысли. Мы обнялись и опять расстались друзьями. На следующую весну он самым убедительным образом приглашал меня на кафедру в Петербургском университете, и когда вскоре после того мне случилось быть проездом в Петербурге, я навещал его каждый день, и отношения оставались самые дружелюбные. Окончательный разрыв произошел уже позднее, по поводу университетской истории. Об этом я расскажу ниже [1].

Что касается до Герцена, то с ним после письма в «Колоколе», прекратились всякие дальнейшие сношения. Он напечатал мое письмо целиком, но почувствовал себя уязвленным. Уведомляя меня о получении коллективного послания, он высказал, что отныне мы можем смотреть друг на друга только как два офицера, стоящие в противоположных рядах и издали уважающие один другого. С тех пор я его не видал, но продолжал с любопытством и даже с некоторым сочувствием следить за его бесплодною деятельностью. Несмотря на раздражительное самолюбие, которое портило многие возвышенные черты его характера, я не мог не ценить благородства его побуждений и высокохудожественного его таланта. «Былое и думы» я всегда перечитываю с истинным наслаждением, так тепло, умно и изящно изображено в нем прошлое. Я даже не мог винить его за бестолковое беснование в «Колоколе», когда я видел, что в том его поддерживают люди стоящие в первых рядах русской литературы. Но исход этого беснования мог быть только самый плачевный. «Колокол» падал более и более в общем мнении. Когда вспыхнуло польское восстание, Герцен вовсе не понял положения России и русских людей; он совсем потерял почву и должен был прекратить свое издание. С тем вместе порвалась живая связь с отечеством, которая одна его поддерживала и ободряла. Он остался грустным скитальцем, оторванным от родной земли и не нашедшим себе приюта в чужой. Самая домашняя его жизнь подверглась глубокому расстройству. Жена Огарева перешла к Герцену, и друзья, под влиянием идей Жорж-Занда, нашли это совершенно естественным и законным. Но жить вместе они более не могли. Нельзя без грусти читать их переписку в последние годы, напечатанную

[1] См. Воспоминания Б. Н. Чичерина. Московский университет. М. 1929 г.

в воспоминаниях Т. Пассек. Видно, что над обоими тяготеет какая-то безотрадная судьба, что ни тот, ни другой не может найти покоя. Близкие с ранней молодости, они стремятся друг к другу, чувствуют, что на чужбине только один в другом они могут найти опору и утешение, а между тем, их разлучает роковая связь. Говорят, что в эту тяжелую пору своей жизни Герцен стал пить больше прежнего. Об этом свидетельствует портрет его, писанный художником Ге. Когда я увидел это произведение, я пришел в ужас. Неужели этот спившийся нахал тот самый Герцен, которого я знал полным силы, огня, благородства? Тем не менее он не пал ни умственно, ни нравственно. Он не преклонялся, как Тургенев, перед русскою революционною дрянью, наводнившею Западную Европу, а, напротив, хлестал ее со всею силою своего могучего таланта, со всем пылом своего благородного негодования. Несмотря на все его крупные ошибки, которые в значительной степени объясняются диким произволом власти, тяготевшим над его молодостью, он остался в памяти всех знавших его людей, как один из чистейших, благороднейших и даровитейших деятелей поколения сороковых годов.

Также печальна была и участь Огарева. В тех же воспоминаниях Т. Пассек нельзя без сердечного умиления читать последнего ее посещения угасающего поэта, который, одинокий, надломленный, больной, свято хранит воспоминания своей юности и переносится мысленным взором в свою далекую, любимую родину. Глубоко трогательны его последние, посвященные отечеству стихи, составляющие предисловие к недоконченной поэме: «Радаев». Мечты его летят к столь близким душе его пустынным равнинам, к широким полям, к трудовой жизни русского мужика. Он всем сердцем приветствует восходящую для него зарю освобождения. Телом он прикован к чужбине, но душа его неизменно там, где протекли лучшие его годы, где он любил и страдал, в родной земле, с которою он связан всем своим существом. Так и умер бедный поэт, дважды женившийся в своей жизни и несмотря на свою мягкую и любящую натуру никогда не обретший семьи. Чужая рука закрыла ему глаза.

Возвращаюсь к своему путешествию.

Из Лондона в Париж я ехал через Гавр в компании с англичанином и французом, из которых последний очень меня забавлял. Он был владелец большого магазина в Париже и мог служить совершеннейшим типом современной фрунцузской буржуазии, со всеми ее мелкими сторонами, объясняющими ее покорность императорскому правлению. Он был необыкновенно словоохотлив,

начал болтать уже в Лондоне, на станции железной дороги, и продолжал без умолку до прибытия на место. Началось сравнением между двумя столицами: Лондон нечист, Париж чист, там всегда метут; в Лондоне нищета, на улицах люди ходят в рубищах, в Париже все опрятны; в Лондоне домов не красят, в Париже велено красить. Затем он перешел к политике и выразил полное удовольствие существующим порядком: «Мятежей нет, к Франции относятся с уважением. До остального мне дела нет». Он рассказывал, что видел императора в Лондоне, когда еще он был претендентом, и в то время считал его кретином: «Но тем не менее, я подал голос за него из ненависти к республике, и очень многие действовали также». Я спросил, почему он так не любил республики? «Что вы хотите? Не было у меня к ним доверия. Мои друзья говорили мне: но почему же Вы им не доверяете? Я им говорю: я и сам не знаю, но я не могу заставить себя доверять, когда у меня нет доверия. Это то же, что и в религии, — я не знаю почему это пришло, не знаю почему ушло?»

По поводу религии завязался любопытный спор с англичанином. Тот все твердил: «Вы читали библию?» А француз отвечал ему разными рационалистическими рассуждениями, в роде того, что человек не создал ни своего ума, ни своего сердца, и даже не воспитал себя, а потому не может подлежать вечному наказанию за действия, которые проистекают от независящего от него источника; что богу, сотворившему мир, очень легко было вложить в человека, как неотъемлемую часть его природы, мысль о поклонении единому божеству, если бы это действительно было нужно для жизни, ибо всякое животное знает, что ему для жизни потребно. «Я думаю, monsieur, что когда человек умер, то это надолго; он родится вновь в своих детях, они в своих — так оно и идет. Что ж — таково мое мнение». А мне он шептал на ухо: «Библия — это куча глупостей первого сорта. Я думаю, что один человек бывает религиозен так же, как другой бывает игроком, третий любит женщин. Это расположение ума. А что касается духовенства, то я его не осуждаю, но я себе говорю: они делают свое дело, они обязаны его делать, я им даю свои два су на похоронах, или на каком-нибудь торжестве».

Я у него спросил, зачем он при таком образе мыслей отдал своих детей на воспитание духовенству. Он воскликнул: «Но я не противник религии. Я считаю, что религия очень хороша для воспитания детей и потом для несчастных. Если бы я был несчастен, я также молился бы богу; но теперь я довольствуюсь тем, что исполняю свои обязанности и не совершаю нечестивых поступков». Любопытно, что он также воспитывался духовенством.

никогда не читал Вольтера, никем не был совращаем, а просто вдыхал в себя окружающий воздух. Это подтверждало меня в мысли, что старая религия ушла, а новая еще не родилась. Впрочем, он и политику считал такою же специальностью, как религию: один — купец, другой — ученый, третий занимается политикой и т. д. Власть же прежде всего должна сама себя сохранять. Император умеет это делать, и за это он его хвалит. Когда мы прибыли во Францию, наш француз еще более развеселился. Он с восторгом показывал нам прекрасное небо Франции, прекрасное солнце Франции. А англичанин, переходя в Гавре мимо кучек навоза или оборванных работников, потихоньку меня толкал и шептал мне: «Посмотрите, это все должно быть в Англии».

Я не мог, однако, не согласиться, что в сущности француз был прав в своих восторгах и в своих сравнениях. После смрадного, дымного, суетящегося Лондона, с серыми домами, с уродливыми монументами и озабоченными лицами, Париж сделал на меня светлое и отрадное впечатление. Точно я из фабрики перешел в гостиную. Мне казалось, что здесь все наслаждаются жизнью. Бульвары, кофейные, театры, рестораны, магазинные выставки, все как будто нарочно устроено для удовольствия людей, и все, действительно, пользуются доставляемыми им удобствами, с умением и не спеша. Особенно поразил меня парижский блузник, всегда опрятно одетый, смело и бодро расхаживающий с своею трубочкою среди несметной толпы. Он представлялся мне царем этого мира, сознающим свою силу и свое призвание. Демократия, которой я в то время еще глубоко сочувствовал, считая ее призванною к великой роли в судьбах человечества, являлась тут вышедшею из первобытной грубости и достигшею той уже обшлифованной простоты форм, которая обличает присутствие высшего просвещения. Мне казалось, что в настоящем эта демократия, слишком рано и неожиданно вызванная на политическое поприще, выносит на себе естественные последствия своего неустройства, но что в будущем ей несомненно принадлежит первенствующее положение в стране. И при всем том, не к ней лежало мое сердечное влечение, а к прошлой истории Франции, к тому несравненному умственному и политическому движению, которым ознаменовалась первая половина XIX века. Это я живо почувствовал, когда меня однажды Каченовский повел в заседание Академии нравственных и политических наук. Я был совершенно ошеломлен и очарован при виде всех этих давно знакомых мне по имени знаменитых людей, собранных вместе. В тот же вечер я написал в Москву к Е. Ф. Коршу и занес в свою записную книжку, чтобы сохранить для себя память об этом впечатлении:

«Не могу не поделиться с Вами одним из лучших впечатлений, какие я имел со времени отъезда из России. Сегодня утром мы с Каченовским были в заседании Академии нравственных и политических наук. Читались довольно скучные мемуары, но я ничего не слушал, я весь превратился в зрение. Не могу сказать Вам, какое действие произвело на меня собрание всех этих знаменитостей, которых имена были мне так хорошо известны из книг, и к которым я издавна привык обращаться с уважением. Я подсел к одному из слушателей и стал его расспрашивать об именах, как Приам расспрашивал Елену о греческих героях; только моя Елена была плешивая и в очках. Председательствовал Ипполит Пасси; подле него на секретарском месте сидел Минье. Вы не можете себе представить, что это за прелестная физиономия, сколько в ней мысли, спокойствия, благородства, добродушия и тонкости! Мы с Каченовским все время на него любовались. Подле Минье — Бартелеми-Сент-Илер. На другой стороне зала старик Дюнуайе, с ним говорит Леон де Лавернь, далее Виллерме, Моро де Жоннес, Фаустин Эли, Лаферрьер. Я спросил об имени господина, который сидел поодаль, писал письма и все время ни с кем не говорил и не кланялся. Это был Корменен — физиономия очень умная, выразительная, но не симпатическая. Среди заседания отворилась дверь и вошел старичок с зонтиком в руках и с белою шляпою, которого все приветствовали с уважением. Я спросил: кто это? Господин Кузен. Опять отворяется дверь, входит высокий господин в синем фраке, застегнутый, лысый, с навислыми бровями, с величавой осанкой — Одилон Барро. Последний впрочем менее мне понравился, но у Кузена наружность чрезвычайно привлекательная: умная, подвижная, с французским добродушием, и необыкновенно приятною улыбкою. Ведь не важный, кажется, человек: когда о нем говоришь, то обыкновенно подтруниваешь; а между тем, вид его привел меня в умиление. Не знаю, отчего, но от него, еще более, нежели от других, повеяло мне старой Франциею, блистательною эпохою Франции, с парламентскими битвами, с красноречием профессоров, с бурной журналистикой, с живою общественною жизнью, в которой было столько увлечения, столько сочувствия ко всему прекрасному, такая страсть к мысли, такая любовь к свободе, такое участие ко всему человеческому. И на всем этом лежит поэзия погибшего безвозвратно. Большая часть этих людей отжили свой век; многие из них оказались несостоятельными; но каждый совершил в своей жизни что-нибудь серьезное, каждый из них посвятил себя мысли и труду, оставил по себе след, каждый из них принимал деятельное участие в этой обая-

тельной среде, и жизнь его полна, имя его нельзя произнести без участия и уважения. И теперь эти люди сходятся и жмут друг другу руку в святилище, которое не подлежит влиянию политической борьбы. Тут я понял, как им должно быть горько и больно. Чтобы дополнить впечатление, надобно сходить в Пер Лашез[1] и там видеть гробницу Бенжамен Констана рядом с монументом генерала Фуа, и Беранже, погребенного вместе с Манюэлем, с которым он не хотел разлучаться даже после смерти. Много там и других».

Каченовский познакомил меня тут с Пасси и с Воловским, который очень любезно пригласил меня к себе и завел разговор о нашей сельской общине. Мы сошлись во взглядах. Это был словоохотливый, но основательно и разносторонне образованный поляк, весьма приветливый в обращении и склонный к примирению с русскими. Он пригласил нас с Каченовским на ежемесячный обед экономистов, и тут я опять наслаждался, как молодой скиф, который, приехав в Грецию, своими глазами увидел тех людей, чьи произведения приводили его в восторг. Воловский познакомил нас с Ренуаром, Лавернем, Гильоменом, Леймари. Нас посадили по обе стороны председателя, старика Дюнуайе, с которым я вел беседу во все время обеда. После обеда тут же за столом начались прения, и я с каким-то душевным умилением слушал спокойный обмен мыслей основательно знающих науку людей. Это было именно то, о чем я мечтал у себя на родине. Как неизмеримо высоко все это стояло перед самоуверенным невежеством и высокомерною нетерпимостью моих соотечественников, которые вместо того, чтобы смиренно учиться, вздумали презрительно смотреть на всю западную науку! Я ушел вполне очарованный всем, что я видел и слышал. Мне казалось, что в мире нет ничего лучше собрания замечательных людей.

Скоро, однако, я все это покинул и отправился на юг искать других впечатлений. Настоящее пребывание в Париже было только заручкою для будущего. Я остановился некоторое время в Ницце, где мои родители устроились на зиму. Радость свидания была большая; но отца я нашел не в хорошем состоянии. Непривычный к южному климату, он недостаточно остерегся, простудился и сидел большею частью в халате в своей комнате, откуда выходил только для катанья. Мы ездили с ним по прелестным окрестностям; он наслаждался южною природою, великолепием Средиземного моря, которые он тут видел впервые.

[1] Пер Лашез — известное кладбище в Париже.

Ницца в это время была еще маленьким городком с довольно патриархальным характером, что придавало ей прелесть, ныне утраченную. Проживши здесь около месяца, мы с братом Сергеем поехали прямо в Рим, который был предметом самых пламенных моих стремлений. Я столько о нем наслышался, что ожидал обрести там все, что может наполнить душу человека и вознести ее в идеальные области искусства и поэзии.

Действительность превзошла все мои ожидания. Я увидел здесь воочию всю историю человечества, и древность, и средние века, и новый мир, как бы слитые воедино и представленные в живых образах и в чудной гармонии. Прежде всего я, разумеется, побежал на Форум. Я ступал по почве, где волновались свободные граждане Рима, с их консулами и трибунами, где ратовали Сципионы и Гракхи, Цицерон и Цезарь. Передо мною лежал священный путь, по которому двигались триумфаторы, Фабриции, Фабии, Цинцинаты. Я стоял на Капитолии, в центре римского могущества и славы. Тут заседал Римский сенат, величайшее политическое собрание в истории, который в течение многих веков наполнялся славнейшими именами, руководитель политики, покоривший целый мир. Я видел Тарпейскую скалу, с которой сброшен был Манлий. Весь республиканский мир, с его суровыми доблестями, с его железною энергиею и все возрастающим величием, основанным на любви к свободе и на беспредельной преданности отечеству, восставал из пепла передо мною. Все мои классические воспоминания, мечты свободы и славы, целым роем воскресали в моей душе. В первый раз меня охватило и грустно величавое впечатление мира развалин, одинокие колонны, триумфальные арки, и этот дивный Колизей, которого изящные очертания рисовались на синем итальянском небе. Здесь каждый шаг ознаменован был историческими воспоминаниями, каждый камень говорил воображению. Я всходил на Палатин, первое поселение древних римлян, и оттуда, с величественных развалин дворца цезарей, открывался очаровательный вид на холмы вечного города, на пустынную Кампанию, перерезанную красивыми арками водопроводов, на синие горы далекого Лациума. С священным трепетом сходил я в подземелье, где некогда хранились останки Сципионов, с почтением, подобающим древности, смотрел на квадратные камни укрепления, восходящего ко временам мифического Ромула, на стену Сервия Туллия, на построенный Тарквиниями громадный свод Клоака Максима, поныне служащий главною артериею городской канализации. И, наконец, насмотревшись всех наполняющих вечный город вековых памятников, насытившись впечатлениями, я при захож-

дении солнца шел на Понто Ротто [1], где подо мною струились мутные волны исторического Тибра, а кругом в вечернем зареве сияли холмы.

Но не один древний Рим воскресал в моем воображении. В нетленных памятниках восставала и древняя Греция, с ее богами, героями и великими людьми. Я шел в Ватикан, и здесь видел дивные создания греческого искусства, собранные в одно величавое и гармоническое целое. Не в первый раз мне доводилось осматривать музеи скульптуры, но нигде они не производили такого впечатления. В других странах музеи представлялись мне не больше, как музеями, то есть собраниями статуй, вырванных из своего родного места и перевезенных на чужбину для услаждения или поучения публики. Здесь же весь мир богов и героев являлся мне как бы в настоящем своем святилище; они казались поставленными тут не для осмотра, а для поклонения. С таинственным благоговением входил я в освещенные сверху капеллы, где недвижно стояли Меркурий, Лаокоон, Аполлон Бельведерский, всех более поразивший меня своею красотою. Колоссальный бюст Зевса Олимпийского, отца людей и богов, движением бровей потрясающего землю, давал смутное понятие о погибшем произведении Фидия, перед которым преклонялась вся древность. Великолепная голова Менелая воскрешала в памяти могучие образы героев Илиады; Силен, няньчащий младенца Диониса, грациозные фавны, улыбающиеся сатиры, пляшущие менады вызывали представления вакхических торжеств, упоительных праздников ликующей и возрождающейся природы. И рядом с этим я видел как бы живого Демосфена, сверкающего очами и говорящего пламенную речь афинскому народу; передо мною стоял изящный образ Софокла, полная правды и простоты статуя Еврипида, покрытая шлемом голова Перикла. В Риме в первый раз я почувствовал всю обаятельную прелесть классических форм, всю чистоту, возвышенность и изящество греческого искусства, развернувшегося, как преходящий цвет весны на заре исторического развития, и оставившего человечеству недосягаемые типы красоты.

Но стоило перейти в другое отделение Ватикана и перед очами открывался другой дивный мир, мир христианского искусства нового времени, достигшего высшей степени совершенства в произведениях Рафаэля и Микель-Анджело. Здесь в заимствованные у древности и никогда не стареющие формы вливалось

[1] Понто Ротто — мост, построенный в I в. до н. э., несколько раз разрушавшийся наводнением Тибра. Окончательно сломан в 1887-1888 г.

новое содержание. С одной стороны, все библейское величие изображалось на потолке Сикстинской капеллы, в этих колоссальных пророках и сивиллах, в могучей фигуре бога, творящего светила или оживляющего тело человека; с другой стороны, вся евангельская чистота и возвышенность, соединенные с неподражаемою грациею и изяществом, выражались в фресках великого урбинского художника. Афинская школа на одной стене и Disputa [1] на другой представляли как бы идеальную сущность всего языческого и христианского мира. Много раз ходил я любоваться и этим дивным Моисеем, единственною статуею нового времени, которая, несмотря на свою совершенно своеобразную форму, может по глубине и величине сравниться с отборными произведениями древности.

И как бы связью этих двух миров, древнего и нового, хранителем всех собранных тут сокровищ, являлось живое предание средних веков, римское папство, окруженное всем блеском и великолепием католического церемониала. Оно одно царило в Риме, еще не затронутом веянием новых идей и не опошленном натиском современности. Здесь все носило печать этой теократической власти, к подножию которой некогда склонялись земные цари и которая сохранилась непоколебимою среди всех превратностей истории. Здесь, в центре своего духовного могущества, она воздвигла себе как бы вселенский престол в величайшем произведении нового зодчества, в храме св. Петра, который по своим величавым размерам и по изяществу линий превосходит все, что мне доводилось видеть и прежде и после. В нем нет таинственной прелести готических соборов, где волшебный полумрак и глубокие звуки органа под стрельчатыми сводами призывают душу к благоговейной молитве и возносят ее в невидимый мир: это — храм, созданный для великих торжеств, для радостно настроенного народа; в нем есть что-то светлое, пышное и праздничное. Это — настоящий храм для католических церемоний, где папу несут на престоле, окруженного толпою кардиналов и епископов, в красных и фиолетовых мантиях, где происходит всенародное благословение города и мира. Я много видел этих церковных торжеств и любовался их великолепием, хотя должен сказать, что все в них казалось мне больше рассчитанным для глаз, нежели для души. Особенно чувствуется отсутствие наполняющей храм толпы великих и убогих, соединенных в общей молитве. Когда я в день Рождества христова вошел в базилику

[1] Афинская школа и Спор о таинстве евхаристии—фрески Рафаэля Санцио в Ватиканском дворце папы в Риме.

св. Петра, меня неприятно поразили ряды солдат, устраняющих чернь и впускающих в запретное место вокруг алтаря только одетых во фрак иностранцев, собравшихся тут для зрелища. Глядя на все эти художественно организованные процессии и службы, обставленные самыми высокими созданиями искусства, я всякий раз с любовью вспоминал иное, гораздо более скромное религиозное торжество, которое далеко не отличается такою пышностью и блеском, но гораздо сильнее действует на душу. Я вспоминал, как на светлый праздник в тишине собирается народ на Кремлевской площади, как при первом ударе колокола Ивана Великого, все молча снимают шапки и осеняют себя крестным знамением, и вслед затем по всей Москве пойдет неумолкающий гул бесчисленных колоколов. И после торжественного благовеста, призывающего всех православных к молитве, начинается ликующий, оглушительный трезвон, возвещающий великий праздник Воскресения. В благоговейном ожидании толпится на площади народ с зажженными свечами, и вот один за другим, идут вокруг соборов крестные ходы, с хоругвями, иконами, с облеченным в праздничные ризы духовенством и с радостным пением: Христос воскрес!

Полтора месяца, проведенные в Риме, были для меня событием в жизни. Я чувствовал себя как бы вырванным из земли и перенесенным в очарованный мир. Это было непрерывающееся восторженное состояние. Душа надолго насытилась возвышенными впечатлениями. Тут я впервые вполне понял высокий мир искусства и с тех пор сделался навсегда его поклонником и любителем. Мы с братом вставали рано и тотчас, напившись чаю, бежали осматривать музеи, церкви, развалины, ходили по Аппиевой дороге [1], а по вечерам погружались в изучение книг по части древностей и художества. Так незаметно летели дни полные наслаждения.

Я познакомился в Риме с двумя людьми, которые могли быть руководителями и пособниками в этих занятиях, с Ампером и Грегоровиусом. Я был им рекомендован баронессою Раден. Ампер был прелестный тип старого француза, живой, тонкий, разносторонне образованный, с свойственною его народу учтивостью и общительностью, с поэтическим полетом мыслей и чувств, в высшей степени обладавший французским даром вести разговор разнообразный и привлекательный, затрагивающий все

---

[1] Via Appia из Рима в Капую проведена в 312 г. до н. э. цензором Аппием Клавдием Цеком. Окрестности ее возле Капенских ворот служили местом погребения знатных римских родов. Часть гробниц сохранилась до нашего времени.

стороны человеческого духа. Он знал Рим, как свои пять пальцев, не только как археолог, но как историк и поэт. Я не раз совершал с ним большие прогулки, и всегда это было для меня истинным наслаждением. Он знал историю и предания каждого места, по которому мы проходили: вот народная Субурра, где поселился Юлий Цезарь, когда хотел угождать черни; вот тропинка, по которой плебей Марциал ходил к своему приятелю Плинию младшему, жившему в аристократическом квартале; вот где Сулла, сделав обход, разбил Мария; здесь Гораций встретил надоедалу. В галлереях Ампер знал каждый бюст, объяснял характер лиц и выражение физиономий. И все это он пересыпал суждениями о современном порядке вещей. Он терпеть не мог ни древнего, ни нового цезаризма и всею душою скорбел о падении своего отечества.

Весьма приятен, хотя далеко не так привлекателен, был Грегоровиус, который в это время работал над своею «Историею города Рима в средние века». У него не было тонкости и изящества Ампера, но были солидные качества немца. Он был очень образованный человек, без национальных предрассудков, хотя исполненный патриотизма, с либеральным направлением, неутомимый архивный труженик, а вместе с тем одаренный чувством поэзии и художества. У немца, особенно молодого, эти различные свойства не всегда сочетаются в гармонической форме. У Грегоровиуса из этого проистекала некоторая манерность и претенциозность, которая усиливалась стремлением к светскому лоску и отражалась на самом его слоге. Оттого его история, при всех своих достоинствах, вышла каким-то странным произведением, полуученым и полухудожественным, отличающимся отсутствием простоты. Но в личных отношениях он был и поучителен и приятен. Мы также делали с ним большие прогулки за город.

Мы вернулись в Ниццу к свадьбе брата. От Рима во Флоренцию в то время не было еще железной дороги. Мы поехали в курьерской коляске, которая довезла нас до границы папских владений, а там должен был взять нас курьер из Флоренции. Но, по обыкновению, последний опоздал, и мы принуждены были провести несколько часов в Аквапенденте, в грязной гостинице, где нам дали отвратительную еду и морили холодом. Погода была скверная, кругом все сыро и грязно. Мы невольно вспомнили свой родной русский Ряжск, ненавистную нам станцию на полпути между Тамбовом и Москвой. Пошли бродить по городу и увидели, что все-таки это не Ряжск. Тут люди жили и понимали искусство. Кой-где встречались следы архитектуры, какой-

нибудь изящный портик или старинные ворота, вделанные в новый дом. Зато в Ряжске можно было иметь теплую комнату и чай.

Но подобные впечатления возвышали только прелесть путешествия. Я был в таком упоении, что уговорил мать поехать с сестрою дней на десять в Рим, обещаясь быть их путеводителем. Отцу нельзя было двигаться; он их отпустил и остался с братом, а мы после свадьбы отправились по Корнишь, через Геную, Флоренцию и Сиену. Это был ряд самых очаровательных впечатлений. Мои спутницы были в полном восторге, и я рад был, что настоял на этой поездке. Показав им в Риме все наиболее замечательное, я посадил их на пароход в Чивита Веккиа, а сам отправился в Неаполь посмотреть на самую красивую природу, какая, может быть, существует на земном шаре.

Здесь в дивной гармонии соединяется все, что может пленить чувства человека: край, издавна манивший своею красотою, полный исторической и современной жизни, как бы лелеющийся на солнце под безоблачным нежным небом, при ярко голубом море; кругом ласкающий воздух, напоенный ароматами, плавные линии гор, померанцевые рощи и стройные пинии и над всем этим величественный и вместе удивительно красивый Везувий с дымящеюся вершиною, который, как одинокий великан, вздымается над равниною, словно любуясь расстилающеюся у ног его прелестью. Осмотрев Неаполь и его богатые музеи, посетив Помпеи, которые после величавых развалин Рима показались мне сохранившимся под пеплом уездным городом древности, я поехал в Сорренто, где во всей своей волшебной роскоши представляется вид Неаполитанского залива. Сидя на висящей над морем скале, я вдыхал в себя этот упоительный воздух и любовался закатом солнца, тихо погружающегося в море и озаряющего своими золотыми лучами эту очаровательную картину. Рано утром я встал и пошел на Капо ди Монте. Там я долго сидел и не мог наглядеться на восхитительное зрелище, которое открывалось моим взорам: у подножия лежал гладкий, как зеркало, отражающий голубое небо Неаполитанский залив; налево рисовались на горизонте дымчатые очертания замыкающих его островов, величественного Капри и изящного Искиа; впереди расстилающийся полукругом Неаполь и весь усеянный виллами берег; справа поднимающийся плавными линиями высокий Везувий, увенчанный легким дымком, кругом яркая зелень апельсиновых рощиц с перемешанными между ними розовыми цветами персиков и блистающими на солнце каплями недавней росы, все это облитое тихим сиянием апрельского утра с носящимся в теплом

и влажном воздухе весенним благоуханием. Это одно из тех впечатлений, которые не забываются ввек. Из Сорренто я поехал на Капри, любовался ярко голубою прозрачностью воды с серебристыми блесками в знаменитом Лазоревом гроте, затем въехал верхом на осле на высокую, отвесно вздымающуюся над морем скалу Тиберия, некогда любимый приют сумрачного деспота, отсюда правившего миром. Опять мне представился тот же вид, в меньшей прелести, но в еще большем величии: с одной стороны далеко внизу, весь окаймленный горами и поселениями Неаполитанский залив, а с другой стороны безграничная, бездонная лазурь и наверху и внизу, лазурь сияющая таким удивительным блеском и манящая к себе, такою чудною глубиною, что очарованный взор так в ней и тонет и не в силах от нее оторваться. Казалось, выше этого ничего уже нет; однако, еще больше впечатления произвели на меня Амальфи и вся дорога до Салерно по берегу моря. Я видел северную ривьеру от Ниццы до Специи и думал, что в мире не может быть ничего красивее этого сочетания величественных скал и лазурного моря, с дорогою, извивающеюся по берегу, украшенному противоположною зеленью померанцев и олив, с всюду ползущими растениями по оградам, и с живописно раскинутыми местечками и городками, где самые простые постройки просятся на картину. То же самое я увидел и на южной ривьере, между Амальфи и Салерно, но в еще большем величии и красоте: здесь скалы еще живописнее, море сияет еще более яркою лазурью. Амальфи в особенности представляет такое очарование, с которым ничто не может сравниться. Внизу долина мельниц, с ревущим по ней потоком среди грозных теснин, у подножия которых тянутся покрытые фруктами апельсиновые рощи, пещеры, убранные лезущими отовсюду вьющимися растениями, живописные арки, перекинутые через клубящиеся воды, мельницы с крутящимися колесами, представляет как бы клочек Швейцарии или Тироля, перенесенный в роскошную природу юга и освещенный полуденным солнцем; наверху великолепное Ровелло с сарацинскими развалинами, вознесенное высоко над морем, откуда вид простирается в бесконечную лазурную даль: все это вместе является какою-то волшебною сказкою или поэтическим видением из другого мира.

Я доехал и до Пестума, видел удивительно сохранившиеся древние дорические храмы, возвышающиеся среди пустынной равнины во всей их гармонической простоте и изяществе. Но рядом с этим, как водится с путешественниками, пришлось натолкнуться и на впечатление совершенно другого рода. Я прибыл в Кастелламаре с намерением ехать в Амальфи и Пестум. Прихожу

в гостиницу, чтобы закусить перед дорогою и сажусь за стол. Возле меня завтракает какой-то господин весьма приличной наружности с большою черною бородою. Он заводит разговор по-итальянски: я отвечаю тем же. Сначала речь идет о прекрасной погоде; я говорю, что хочу воспользоваться ею, чтобы съездить в Пестум. «Я никогда там не был, — сказал он, — хотите, я поеду с вами?» Меня очень удивило это неожиданное предложение со стороны совершенно незнакомого человека; но я вижу: имеет вид порядочный; я согласился. Оказалось, что это был англичанин, и притом переводчик Тассо, сэр Кингстон Джемс. Он был весь погружен в свой перевод «Освобожденного Иерусалима» и не раз дорогою пытался читать мне свои стихи. Но я все его уверял, что увлекаясь прелестными видами, буду слушать рассеянно. В Салерно пришлось ночевать в одной комнате, так как в гостинице не было другого свободного нумера. Как только мы в ней поместились, он тотчас вытащил тетрадь из своего чемодана и воскликнул с торжеством: «вот они!» Но тут уже пора было спать, и я попросил его отложить чтение до нашего приезда в Ла Кава, где мы на следующий день должны были обедать. Однако, он не вытерпел и на обратном пути из Пестума, сидя со мною в коляске, сказал: «Нет, я вам все-таки прочту свои стихи». И тут же начал декламировать свой перевод. Это было однако же только прелюдиею. Когда мы прибыли наконец в Ла Кава я пошел к себе в комнату, а он взялся заказать обед. Прихожу в столовую и вижу: стол накрыт, камин пылает, а мой англичанин расположился на диване с толстою тетрадью и с книгою. Как только я вошел, он тотчас вручил мне книгу и сказал: «Вы следите по оригиналу, а я вам буду читать свой перевод». При чтении он поминутно останавливался и восклицал: «Не правда ли, как верно? Вы не удивляетесь?!». Я, разумеется поддакивал. Едва мы успели проглотить обед, как он опять принялся за свое чтение. Так мучил он меня весь вечер. Это было одно из первых моих знакомств с англичанами. «Вы очень удивились, когда я предложил вам ехать вместе? — спросил он меня. — Англичане обыкновенно имеют репутацию, что они нелюдимы. Но это происходит от того, что мы не любим вступать в сношения с своими соотечественниками за границею. Бог знает, к какому обществу они принадлежат, и в какие придется стать с ними отношения в Англии. А с иностранцами это не имеет дальнейших последствий». Последствий наше знакомство действительно не имело. Он дал мне свою карточку, прибавив, что когда я приеду в Англию, его перевод вероятно уже выйдет в свет. Но когда я в следующем году путешествовал в Англии, он был за грани-

цею. Лишь мельком я наткнулся на него раз в Гамбурге при рулетке, где мы впрочем оба были только зрителями.

Я совершил восхождение и на Везувий, и притом в особенных обстоятельствах. В то время было извержение, но не из кратера, а из бокового ущелья. Ночью из Неаполя виднелась огненная полоса, как горящие угли. В Неаполитанском заливе стояли тогда два русских фрегата, на одном из которых был Григорович. Однажды мы обедали в ресторане с ним и с двумя капитанами. Они предложили съездить ночью на Везувий посмотреть извержение. Большое шоссе было перерезано лавою; мы наняли ослов и взяли проводников, которые должны были вести нас окольными путями. Дорога в ночной темноте была убийственная; мы карабкались по невероятным тропинкам, а иногда и вовсе без тропинок, по крутым скатам и кустарникам. Наконец, после трех часов такой езды, мы совершенно измученные добрели до Эрмитажа. Тут мы думали несколько отдохнуть, но нашли только крошечную комнату с несколькими деревянными стульями. Спросили поесть; ничего не было. Монах принес нам только бутылку вина, которая оказалась уксусом, так что в рот нельзя было взять. Что было делать? Мы решились пешком, через груды лавы, итти на то место, откуда видно было извержение. Шли, шли, медленно подвигаясь с помощью факелов во тьме кромешной, по невообразимым кочкам, на которых можно было переломать себе ноги. Вдруг проводники объявили, что у них факелы погасли, и что надобно возвращаться назад. Тут уже я взбунтовался и решительно сказал, что останусь сидеть на лаве, пока они не вернутся с новыми факелами. Так мы и сделали. Насилу, наконец, мы добрались до желанного места. Но тут перед нами открылось действительно невиданное зрелище. Мы стояли над извержением и видели под собою долину, представляющую настоящий ад. Огненные потоки беспрерывно, то здесь, то там, пробивались сквозь землю и текли медленными ручьями, пока постепенно не застывали. Воздух наполнен был смрадом, а лава кругом была такая горячая, что один из проводников завернул в кусок мягкой лавы медную монету, которую я сохранил. Налюбовавшись этим необыкновенным зрелищем, мы съехали обратно и к утру уже остановились отдохнуть в Геркулануме.

Из Неаполя я прямо проехал во Флоренцию, которую дотоле видел лишь мельком. Мне хотелось ближе узнать этот знаменитый город, некогда центр и рассадник итальянского искусства, произведший столько великих людей во всех сферах человеческого духа, отечество Данте, Макиавелли, Галилея, Брунелле-

лески, Леонардо, Микель-Анджело. Прошли времена бессмертной его славы, но неувядающие памятники искусства сохраняют следы их для потомства и свидетельствуют о полноте духовной жизни, которая кипела здесь несколько веков тому назад. Изучивши в Риме художество, древнее и новое на высшей точке совершенства, я мог уже с бо́льшим пониманием проследить постепенное его развитие от первых опытов Чимабуэ и Джиотто до великих мастеров конца XV века. Здесь я мог в изумительном разнообразии произведений оценить просветленную чистоту и нежность Беато Анджелико и эпическую силу Гирляндайо. С невольным благоговением входил я в тесные и голые кельи монастыря св. Марка, каждая из которых украшена проникнутою глубоким религиозным чувством кистью великого художника, жившего в этой обители, и в тихом восторге останавливался я затем перед полною благочестивого умиления фрескою — Распятие. Кажется, из уст всех этих поклоняющихся висящему на кресте богу святых вылетают молитвы и как фимиам возносятся к небу. Но любимым моим местом в то время, был Карминэ, где я много раз ходил изучать фрески Мазаччио, этого слишком рано умершего гения, который впервые откинул условные формы и внес жизненную правду в область христианского творчества. Нигде, как во Флоренции, так ясно не раскрывается христианское искусство во всех основных своих мотивах, в его возвышенной чистоте полной глубокого внутреннего содержания. Нигде так резко не выступает различие между древним искусством и новым. Первое шло от формы к содержанию, второе, наоборот, от содержания к форме. Меня поражало то, что в архаических статуях Греции мы находим уже вполне развитые, и изящные очертания человеческого тела, тогда как лица представляют еще чистые маски; у художников времен Возрождения напротив, при сухом и часто неправильном рисунке тела, лица полны выражения, и лишь мало-по-малу это духовное содержание облекается в классические формы, и, наконец, проникает их насквозь. Три украшающие флорентийские музеи прелестные мадонны Рафаэля представляют это взаимное проникновение идеи и формы в высшей своей гармонии. Но в ваянии я все-таки отдавал безусловное предпочтение древности. Восторгаясь произведениям новой скульптуры, которыми изобилует Флоренция, полными жизни и силы статуями Донателло, знаменитыми дверьми Гиберти, где с изяществом соединяется удивительная оконченность работы, колоссальным Давидом Микель-Анджело и могучими фигурами капеллы Медичи, я не мог, однако, не признать, что все это не достигает неподражаемой красоты античных образцов, которые я видел в Риме.

Я любовался и прелестными зданиями, составляющими переход от средневекового готического стиля к изящной архитектуре времен Возрождения: грациозной мраморной Канпанилой, полной статуй Лоджиа деи Ланца, церковью Ор Сан Микеле [1], где кругом, по наружным стенам, стоят изваянные великими флорентийскими художниками изображения святых. Но более всего привлекла меня внутренность флорентийского собора, в котором таинственный полумрак готических церквей соединяется с закругляющимся простором, свойственным храмам нового времени. Меня пленяла изящная простота линий, представляющая переход от остроконечной вычурности средневекового стиля к пышности и блеску св. Петра. Это истинный храм периода Возрождения, где выступают уже все основные элементы нового времени, но еще обвитые пеленками, в каком-то смутном предчувствии, как бы предугаданные художественным чутьем. Только купол, расписанный Вазари, всегда приводил меня в негодование и портил гармонию впечатления.

Наконец, самые мелкие подробности, украшения церквей, резные изделия, в особенности же рассеянные всюду прелестные майолики школы делла Роббиа свидетельствуют об изумительном богатстве и разнообразии человеческого творчества в эту эпоху духовного пробуждения. В каждом углу Флоренции можно найти печать великого художника; везде разбросаны следы такого жизненного строя, где искусство было всепроникающим элементом и все носило на себе образ красоты.

Во Флоренции у меня завелись интересные знакомства. Воловский дал мне письмо к профессору Корриди, милейшему итальянцу, благодушному, приветливому, образованному, а тот повел меня в знаменитый кабинет чтения Виессё и познакомил с стариком, у которого по вечерам собирались итальянские литераторы и политические люди. Это была для Италии важнейшая минута. Уже приближался час ее освобождения. Людовик-Наполеон произнес свое знаменитое слово австрийскому посланнику на приеме 1 января: отношения были самые натянутые. Австрия вооружалась, и Пиэмонт, с своей стороны, готовился к борьбе в надежде на опору Франции. Все ждали, что с минуты на минуту вспыхнет война. Между итальянскими патриотами, собиравшимися у Виессё шли оживленные разговоры. Все взоры устремлены были на Турин.

Туда я направился, посетивши наперед Болонью, Модену,

---

[1] Церковь Or san Michele—Horreum sancti Michaelis—Житница св. Михаила, названа так потому, что здание ранее служило местом склада зерна. Построено в 1380 г. Симоне Таленти.

Парму и Пьяченцу. В Болонью я попал в воскресный день и утром отправился в картинную галлерею, где не было ни души. Обежав холодные произведения Болонской школы, я остановился в восторге перед св. Цецилиею Рафаэля. Как нарочно, в эту минуту по всему городу звонили колокола, и серебристые их переливы проникали через окна потолка в освещенную сверху галлерею. Казалось, это была какая-то льющаяся из горнего мира небесная музыка, та самая, которую разыгрывали ангелы, изображенные на картине, а стоящие на земле святые заслушались этих дивных звуков, уносящих их в райские страны. Я стоял очарованный и долго не мог оторваться от этого впечатления.

Всего более, однако, поразила меня Парма, произведениями Корреджио, которого здесь только можно вполне понять и оценить. Я не мог налюбоваться этою бесконечною грациею и нежностью, переходящими иногда в чувственность, но доведенными до такой степени прелести и поэзии, в которой исчезает уже все материальное, и остается лишь какой-то неизъяснимо сладостный трепет, какое-то чарующее веянье красоты. Вознесение богородицы в куполе Пармского собора представляет всеохватывающее, безумное ликование прелестных форм, уносящихся в выспренние пространства. Все эти нежные ангелы с странными взглядами являются существами, принадлежащими к неведомому, волшебному миру, в котором нет ничего земного и царствует только безграничное чувство неги и упоения.

В Турин я приехал в самую роковую минуту. Австрия первая объявила войну и двинула свои войска в надежде нанести решительный удар, прежде нежели приспеют французы. Весь вопрос состоял в том, насколько последние будут в состоянии предупредить врагов. Понятно, с каким восторгом встретили пиэмонтцы первое появление желанных союзников на итальянской почве. Весь Турин двинулся им навстречу на станцию железной дороги. Я тоже был тут, вместе со всем русским посольством. И как только стали вылезать из вагонов красные панталоны, ликование было всеобщее и неумолкающее. Затем прибывал баталион за баталионом, и все они, бодрые, уверенные в победе, украшенные венками, быстрыми и мерными шагами двигались среди несметной толпы громко приветствующего их народа. С утра до вечера в Турине раздавались непрерывающиеся клики. Мне невольно вспомнились стихи Беранже:

Les national, reines par nos conquêtes
Ceignaient de fleurs les fronts de nos soldats [1]

[1] Возрожденные нашей победой народы
Увенчали цветами французских солдат.

Перевод С. П. Григоровой.

Я видел воочию то, что казалось легендою давно прошедших времен. Даже согбенная под императорским деспотизмом Франция исполняла освободительное свое назначение, за которое она так дорого должна была поплатиться.

Вместе с нашим посольством я поехал смотреть на приезд Людовика-Наполеона в Геную. Это было также зрелище, которого нельзя забыть. Пышная Генуя с ее великолепными дворцами, приняла праздничный вид. Улицы и дома были убраны коврами и флагами; вся гавань, с несметными наполняющими ее кораблями, была усеяна цветами. День был чудесный; солнце в полном блеске озаряло эту радостную картину. Когда приблизилось судно, несущее императора, восторг был необъятный: оглушительные крики сопровождали его на всем пути. Это была, можно сказать, лучшая минута в жизни этого исторического лица, перешедшего через такие изумительные перемены высоты и падения. Вечером зрелище было, может быть, еще красивее. Весь город и гавань были иллюминованы. При блеске огней, изящные дворцы с висящими из окон роскошными коврами, с всюду веющими флагами, с перетянутыми через улицы гирляндами, под которыми двигались массы народа, восторженными криками приветствовавшего всякого появляющегося среди них французского солдата, все это представляло такое удивительное сочетание внешнего великолепия и национального одушевления, какое редко можно встретить в жизни. Я весь был наэлектризован. Электричество носилось в воздухе и поднимало дух всякого, кто вступал в эту атмосферу. Давно ожидаемая минута настала, минута возрождения и надежд. В близком будущем виднелось освобождение от иноземного ига, веками тяготевшего над страной, украшенной всеми дарами природы, но издавна угнетенной людьми, составлявшей приманку для могучих соседей. Для Италии вставала заря новой жизни; свободная и единая, она приобретала возможность выказать все силы, лежащие в глубине народного духа. Здесь зажигалась искра, которая могла иметь значение для всего человечества, которая лицу мира могла дать новый вид. Под влиянием всех этих впечатлений, я написал восторженные «Письма из Италии», которые послал в Москву Н. Ф. Павлову. Он в этом году получил разрешение на издание еженедельной газеты «Наше время» и просил моего сотрудничества. Это был мой вклад, памятник моих тогдашних впечатлений, а вместе единственное, что я писал на русском языке во время путешествия за границею. Как скоро, увы, этим светлым мечтам суждено было рассеяться! За минутами восторга обыкновенно для народов настает пора тяжелых испытаний. Прихо-

дится применять к жизни то, к чему так пламенно стремилась душа, а это составляет задачу долгого и трудного исторического процесса, в течение которого попеременно наступают периоды подъема и угнетения. Всего чаще превратность судьбы постигает самих двигателей великих событий. Когда Людовик-Наполеон явился в Геную освободителем Италии, он не подозревал, что надевает себе петлю на шею. За Италией двинулась Германия и престол его рухнул и человечество, вместо свободы, обрело военную дисциплину.

Я не стал дожидаться в Турине окончания войны, которая могла затянуться. Первый год моих странствований кончился, и я хотел приняться за научную работу. С этою целью я в конце мая поехал в Гейдельберг, где думал слушать лекции Роберта Моля, знаменитейшего в то время ученого по части политических наук. Из бурной среды военного грома и политического движения я вдруг перенесся в мирный немецкий уголок, где студенты в цветных вышитых шапочках гуляли с собаками, а старые профессора, по прочтении лекции спокойно расхаживали по бульвару. Эти профессора, однако хорохорились. «Мы двинемся на Париж!» — говорил мне Моль. Но когда пришли известия о сражениях при Мадженте и при Сольферино [1], они не на шутку струсили. «Что с нами теперь будет?» — восклицал тот же Моль. Когда же последовал приказ о мобилизации, в населении поднялся ропот, и Баденское правительство принуждено было объявить всенародно, что война не шутка, что на удобства в ней рассчитывать нечего, и что бывают даже такие трудные времена, когда людям приходится спать без матрасов. Меня все это забавляло и я понимал, до такой степени, при таком настроении, южным немцам должен быть противен Берлин с его милитаризмом. Только слава немецкого оружия и приобретенное им невиданное могущество могли впоследствии побороть эти чувства. Виллафранкский мир на время положил конец всем опасениям.

Приехав в Гейдельберг, чтобы слушать лекции Моля, я не нашел, однако, того, чего искал. В летний семестр Моль не читал энциклопедии политических наук, а читал немецкое право. Прослушав две, три лекции, я увидел, что они не принесут мне ни пользы ни удовольствия. Искать лекций по общему государ-

[1] Сольферино, местечко в сев. Италии, где 24 июня 1859 г. произошла битва между австрийскими и соединенными итальянскими и французскими войсками. Последствием ее был предварительный мир, заключенный в Виллафранке 11 июля 1859 г., по которому австрийцы должны были очистить Ломбардию.

ственному праву в других университетах было уже поздно, да и справиться было негде. Поэтому я решился пока изучить все существующие учебники как новые, так и старые: Моля, Блунчли, Цахарие, Шмиттеннера. Скоро я увидел, что это все, что мне было нужно. Слушать общий курс весьма полезно для человека, которому это еще заново, у которого не выработались собственные взгляды. А я достиг уже той степени зрелости, когда мне для пополнения моих сведений нужно было главным образом живое и подробное, а не приобретаемое на студенческой скамье, более или менее элементарное знакомство с учреждениями. Вследствие этого я слушание курса политических наук вычеркнул из программы своего путешествия. Я решился в Германии ограничиться посещением важнейших университетов и знакомством с известнейшими профессорами, после чего я хотел ехать в Англию и Францию для изучения учреждений этих двух стран на местах.

При всем том, пребывание в Гейдельберге осталось для меня не без пользы. Я часто посещал Моля, к которому у меня было рекомендательное письмо от Капустина. Он принимал меня очень любезно, и я всегда выносил много дельного из его бесед. У него не было ни блеска, ни глубины, ни той тонкости и оригинальности, которые отличали Штейна; но ум был чрезвычайно твердый, трезвый и разносторонний. Литературу предмета он знал, как никто, и умел ценить по достоинству всякую книгу и всякого писателя. Несмотря на недостаток философского образования, он не думал отрицать метафизику и самые философские сочинения обсуждал умно и всесторонне, стараясь выяснить их значение для юридической области. Патриот и либерал, он не увлекался мечтами, не страдал преувеличенною тевтоманиею, а смотрел на вещи прямо и практически. Дара слова он не имел и лекции читал, бормоча себе что-то под нос; но они были полны содержания, и если бы я хотел в подробности изучить немецкое право, я не мог бы найти лучшего руководителя. Точно так же и разговор его, не блестящий и даже не живой, был всегда поучителен. Он хорошо знал людей и рассказывал много интересного о Франкфуртском собрании, где был министром юстиции. Он принимал вечером, за чаем, в семье, состоявшей из жены и дочери, умной девушки, которая вскоре потом вышла замуж за Гельмгольца.

Кроме Моля, я познакомился в Гейдельберге с другим деятелем того же профессорского парламента, положившего начало единству Германии, с стариком Велькером, некогда знаменитым оратором Баденской палаты, пламенным патриотом, автором предложения о поднесении императорской короны прусскому ко-

ролю. Он в старости был так же горяч, как и в молодости, особенно когда говорил о Германии, но с этим у него соединялось добродушие старого немецкого профессора, которое всегда меня привлекало. Я познакомился и с знаменитым Бунзеном, который так же как и Велькер, жил на покое в Гейдельберге. Ученый и дипломат, близко знавший знаменитейших людей своего времени, он в беседе был и занимателен и поучителен. Вообще Гейдельберг, расположенный в приютной долине на берегах Неккара, с живописными развалинами старого замка, с великолепными деревьями, с прелестными прогулками по окрестностям, представлял привлекательное место покоя для ученых стариков, которые пользовались тут и общением с профессорами университета. Но именно вследствие приятности жизни и красоты местоположения, он мало располагал к университетским занятиям. Моль говорил мне, что вообще студенты в Гейдельберге серьезно не учатся, а более гуляют с собаками и занимаются кнейпами.

Тут было, однако, чему поучиться. В этом маленьком уголке Германии было такое собрание выдающихся ученых, что ему мог бы позавидовать любой университет. Это был научный центр в полном смысле этого слова. Кроме Моля тут преподавал знаменитый Миттермайер, один из ученейших криминалистов Германии, в то время уже очень преклонных лет, романист Вангеров, первый знаток пандектов [1], воспитавший многие поколения юристов, историк Гейссер, который читал тогда историю французской революции. Я из любопытства пошел его послушать и как раз попал на знаменитые его лекции о Мирабо, живые, картинные, полные политического смысла. По другим отраслям науки университет украшался еще более славными именами. Часто можно было видеть гуляющими вместе три светила современного естествознания: гениального Гельмгольца, химика Бунзена и физика Кирхгофа. Я в то время вовсе этим не занимался, но часто виделся с молодыми русскими естествоиспытателями, которые слушали лекции в Гейдельберге, с физиологом Сеченовым и окулистом Юнге. Оба были студенты Московского университета и вскоре потом сделались профессорами Петербургской медицинской академии. Сеченов был совершенно влюблен в Гельмгольца и уверял, что у него глаза, как у Сикстинской мадонны. Сам Сеченов был чрезвычайно приятен в личных отношениях. Мягкий, обходительный и живой, всегда ровного характера, он в то время уже был совершенно проникнут материалистическими идеями, но без всякой заносчивости. Мы с ним вели горячие споры о сво-

[1] Пандекты — название одного из отделов римского права, по которому так стали называться курсы римского права в немецких университетах.

боде воли. Естествоиспытателю, не знающему ничего, кроме своей специальности, не трудно впасть в такую односторонность, а Сеченов, к тому же, имел несчастие прочитать психологию Бенеке. При полном отсутствии всякого философского образования, такое отрывочное чтение могло только сбить с толку неприготовленный ум. Он и принялся поверхностными скачками выводить психологию из физиологии, что, конечно, не имело ни малейшего научного основания и вело лишь к тому, что в точные методы исследования вводилось логическое фантазерство. Это не мешало впрочем ценным его работам в чистой области физиологии. В бытность мою в Гейдельберге приехал туда и Менделеев, тогда еще очень молодой. Но это было уже перед самым моим отъездом, и я только раз провел с ним вечер.

Долго оставаться в Гейдельберге при провалившемся моем плане не было никакой нужды. Вследствие этого я поехал в Эмс на свидание с родителями. Отец, полечившись довольно неудачно в Париже, пил там воды. Я нашел его бодрым и свежим. Следов болезни почти не было. Он много ходил, и я, поживши с ним некоторое время, уехал, совершенно успокоенный на его счет. Мне в голову не приходило, что я вижу его в последний раз.

Я поехал сперва на несколько дней в Остенде, на поклон к великой княгине Елене Павловне, которая опять пользовалась там морскими купаниями, а оттуда через Париж в Швейцарию, где я хотел походить по горам. В Париж я попал как раз на 15 августа, Наполеонов день, когда назначено было торжественное вступление итальянской армии. Никогда в жизни я не видал такого скопления народа. С самой северной границы в поезд начали садиться массы пассажиров, которые спешили к празднику, и количество их все увеличивалось по мере приближения к Парижу. Вместо того, чтобы прибыть в девять часов вечера, поезд пришел в час ночи. Я пошел за своим багажем; меня привели в комнату, сверху до низу заваленную чемоданами, и сказали, чтобы я отыскал свой, если могу, а они не в силах. Нечего было делать, надобно было отправляться с одним дорожным мешком. Я вышел, но найти кареты не было никакой возможности. Я должен был с довольно тяжелым мешком в руках итти от станции северной железной дороги до Луврской гостиницы, где я предполагал остановиться. Но тут не было ни одного свободного нумера. Пришлось среди ночи опять итти пешком на новые поиски, с своею грузною ношею. К счастью, мне удалось наконец захватить проезжающую мимо пустую карету. Но и этим не кончились мои мытарства. По сю сторону Сены ни в одной

гостинице не было возможности найти даже самой крошечной комнаты; надобно было ехать на ту сторону. Долго и тут поиски были тщетны. Наконец, проездивши половину ночи, я в каких-то маленьких, грязных меблированных комнатах нашел конурку под чердаком и там ночевал.

Поутру я встал рано и пошел разыскивать Каченовского, который в это время тоже случился в Париже: встретил его у дверей его гостиницы, и мы вместе отправились смотреть на столь пышно возвещенное зрелище, для которого собрались все эти несметные толпы. Мы видели проходящее перед нами победоносное войско с императором во главе; криков было много, но не было ничего похожего на тот народный энтузиазм, которого я был свидетелем в Италии. Несмотря на громадную толпу, стоявшую по обе стороны бульваров, встреча была холодная: слышны были только те заурядные возгласы, которые раздаются на всех подобных церемониях. Французы съехались смотреть на представление, но восторга не было никакого. В сущности, все были недовольны, начиная с самого императора, который, ввиду представившихся ему затруднений, мобилизации Германии и оказавшейся собственной его полной неспособности к военному делу, принужден был заключить мир, не исполнив возвещенной им программы. Недовольны были друзья Италии, которая была покинута на полу-пути; а с другой стороны, недовольны были консерваторы и приверженцы папства, которые думали, что сделано было слишком много; и справедливо опасались, что начатое движение на этом не остановится. Недовольны были, наконец, и дальновидные патриоты, которые в этих начинаниях не только не усматривали истинных интересов Франции, но предвидели, что они, в конце концов, могут пасть на собственную ее голову.

Насытившись зрелищем, я пошел отыскивать свой багаж. Но от улицы Сент-Оноре, до Северного вокзала мне опять пришлось итти пешком, потому что во всем Париже не было ни одного свободного извозчика. Наконец я получил свой чемодан, и снова должен был дожидаться часа два, прежде нежели поймал незанятную карету. Посмотревши вечером великолепную иллюминацию и фейерверк, я хотел ехать на следующий день, но принужден был остаться еще сутки, опять потому, что нельзя было найти извозчика на Лионский вокзал. Уже на третий день я выбрался из Парижа, и прямо поехал в Женеву, а оттуда в Шамуни.

Тут началось мое путешествие по Швейцарии, на этот раз уже с полным наслаждением. Большею частью я ходил пешком,

один, с сумкою на плечах и с зонтиком в руке. Проводника я брал только при трудных восхождениях; все остальное время Бедекер мог служить достаточным руководителем. Я вставал в пять часов утра и немедленно пускался в путь, шел не спеша, отдыхал, где хотел, любовался на досуге всем окружающим. Ничто так не сближает с природою, как это одинокое пешее хождение, полное поэтической прелести, где никто и ничего постороннее не развлекает внимания. Я говорил тогда, что природу, как женщину, надо видеть наедине, чтобы вполне ее понять, и чтобы впечатление от нее проникло в самую глубину души.

С первого же шага меня поразил в Шамуни снежный гигант, вздымающий свою величавую голову к небесам. Особенно он производил впечатление, когда мрак ночи спускался на землю, а белая вершина все еще продолжала сиять в вышине каким-то таинственным блеском. Поразил меня и царь ледников, Ледяное море, с его бесчисленными иглами и ущельями, спускающееся в долину между горами. Я поднимался к нему с обеих сторон, по живописным тропинкам между скалами и пещерами, откуда клубились горные потоки; затем по прелестной лесистой дороге я пошел пешком в Мартиньи, а оттуда к восточному берегу Женевского озера, полному воспоминаний о Руссо, где среди вод возвышается Шильонский замок, прославленный Байроном и Жуковским [1]. И природа и поэзия соединялись здесь для полноты очарования. Любуясь голубою, как небо, гладью озера, обрамленного горами, с игриво разбросанными повсюду местечками и садами, я вспоминал великолепную строфу английского поэта:

Eternal spirit of the chainless mind
Brightest in dungeons, Liberty, thou art [2]

С Женевского озера я проехал в Интерлакен и оттуда обошел пешком весь Бернский Оберланд. Насытившись итальянскими видами, я обрел здесь новые и могучие впечатления. Тут не было ни классической красоты линий, ни яркого южного солнца, ни лазурной дали, уносящей душу в волшебную бесконечность; впечатление было более приютное, сельское, манящее в прохладу, более близкое к родному, а вместе окруженное удивительным величием: среди вздымающих к небу скал живопис-

---

[1] Шильонский замок на скалистом островке Женевского озера. Его сводчатые подвалы, находящиеся под уровнем воды в озере, некогда служили тюрьмой. Судьба одного заключенного в них составила сюжет поэмы Байрона «Шильонский узник», переведенной Жуковским.

[2] Вечный дух разума, не знающего цепей,
Ты в темницах всего лучезарнее. Свобода!

Примеч. Б. Н. Чичерина.

ные долины с великолепными, тенистыми деревьями, с свежими лугами, на яркую зелень которых спускаются белоснежные ледники, внизу клубящиеся между камнями потоки, повсюду бьющие из гор ключи, водопады, то рассыпающиеся в пыль, то с ревом и пеною низвергающиеся широкими струями, с сверкающими на солнце брызгами, местами светлые, стесненные между скалами озера, отражающие прелестные берега; везде печать сельской жизни, разбросанные хижины с садами, пасущиеся стада, кой-где поле с обильною жатвой, и над всем этим снежная цепь Альпов, то сияющих розовым блеском в безмятежные утренние часы, то горящих ярким пламенем при закате. Одинокого пешехода не смущают бесчисленные гостиницы и толпы туристов, на которых жалуются иногда путешественники. Все это исчезает для него среди величия и красоты окружающей природы. Он встает на заре, и когда он после ночного отдыха бодро пускается в путь, его разом охватывает все обаяние тихого свежего утра на горной высоте; серебристый звон колокольчиков на пасущихся по лугам коровах каким-то волшебным звуком раздается по долине; иногда слышатся повторяемые эхом переливы альпийского рога или гортанная песнь горного пастуха; в небесах, возвещая приближение солнца, сияют уже снежные вершины, и мало-по-малу лучи спускаются в долины, освещая яркую зелень пастбищ и ослепительную белизну ледников. В одиноком упоении он весь погружен в созерцание, и одна за другою душу его охватывают сменяющиеся перед ним волшебные картины: то он всходит на горы, где у ног его извиваются облака, вокруг вздымаются грозные утесы, а далеко внизу расстилается роскошная зелень долин, то он спускается вниз и в лесной тени, осененный прозрачною листвою деревьев, в которой солнце играет с каким-то таинственным трепетом, он ищет прохлады у клубящегося потока; он стоит с смутными мечтами перед брызжущей пеной водопада; он входит в галлерею ледников, полных прозрачным лазоревым блеском, как хрустальный дворец какой-то волшебницы. Когда же он вечером, утомленный от дневного пути, сядет отдохнуть, перед ним открывается новая, величавая и вместе полная грустно отрадного спокойствия, картина: теплые лучи заходящего солнца мало-по-малу покидают долины, которые постепенно погружаются в мрак, а снежные горы долго еще продолжают сиять в вышине.

Я вернулся в Интерлакен в полном восторге. Отдохнув день, другой, я предпринял новое путешествие, еще более продолжительное. На этот раз я шел семь дней сряду. Из Интерлакена я через истоки и долину Роны прошел в Церматт и от-

туда через Маттергорн спустился в Италию. Особенно поразило меня величие Альпов в Церматте, удивительная панорама, раскрывавшаяся при вечернем освещении с Горнерграта, и, наконец, переход через Маттергорн на высоте 10500 футов над уровнем моря. Разумеется, на этот раз я шел с проводником и под вуалем, по снежной равнине, по бокам которой возвышались великаны, уступающие только Мон-Блану, Монте Роза, Маттергорн или Мон-Сервен, вдали, в бесконечной перспективе, вздымались вершины за вершинами, и над всем этим, при ослепительном блеске солнца, расстилалось такое темно-синее небо, какого я никогда и нигде не видывал. Из этой области вечных снегов я постепенно спустился в равнины Италии. За снежными вершинами следовали живописные утесы; за соснами и елями великолепные каштаны, и наконец внизу мне представилась вся роскошь итальянской природы.

Турин я нашел уже не таким, каким я его оставил. Тогда все было полно восторга, теперь все находилось в сдержанном выжидании. Виллафранкский мир ничего не решил; Италии приходилось добиваться своей цели собственными средствами, избегая всего, что могло бы задеть могучих соседей. И она сделала это с удивительным политическим тактом, употребляя то хитрость, то силу, никогда не вдаваясь в излишества и проявляя везде удивительную сдержанность. Кавур вышел в отставку, но оставался тайным руководителем всего движения. На этот раз мне довелось с ним обедать у графа Штакельберга. С напряженным любопытством смотрел я на этого человека, от которого зависела судьба отечества. Он говорил о положении Италии, о том, что нет причины европейским державам препятствовать ее объединению. Ясно было, что он скоро вернется к делам.

Я съездил на несколько дней во Флоренцию, чтобы поближе посмотреть на это изумительное самообладание недавно освобожденного народа, предоставленного самому себе при самых трудных обстоятельствах. Я нашел своих тамошних знакомых исполненными надежд и готовыми постоять за себя. Самые умеренные увлекались общим движением. Во главе стоял человек с железною волею, который направлял все. И как характеристическая черта изящного населения, эта политическая решимость украшалась цветами поэзии. Флоренция была полна патриотических песен с грациозными оборотами, с звучными стихами, какие умеют сочинять только итальянцы. Перелетную ласточку народный поэт расспрашивает о подвигах героев; возвещается появление к весне, в знак свободы, Савойского креста на знамени Италии. Тонкие насмешки над кодинами, которым режут хвосты,

грациозные аллегории насчет национальных цветов, красного, зеленого и белого, изливались в гармонических строфах, которые, не имея прочного значения, служили украшением улетающего дня. Я привез их множество в Турин на обратном пути.

Осень стояла великолепная и мне хотелось воспользоваться ею, чтобы насладиться на досуге итальянскими озерами. Начал я с маленького, но прелестного Лаго ди Орта. Отсюда я ранним утром пошел пешком через Монтероне к Лаго Маджоре. Когда я при лучах восходящего солнца взошел на вершину этой горы, перед мною открылось дивное зрелище: у ног ясное и гладкое, как зеркало, расстилалось величественное озеро, окаймленное горами, с плавными линиями, с бесконечными переливами тонов, по берегам бесчисленные виллы и местечки, среди вод, как брошенные букеты Борромейские острова, а вдали, как панорама этой прелестной картины, вся снежная цепь Альпов, сияющая на голубом небе. Я долго сидел в полном восторге, потом спустился к озеру и нанял лодку, чтобы переехать на острова. Лодкою управляла женщина: я спросил ее, довольны ли они, что теперь стали подданными итальянского короля? Она наивно мне отвечала: «Господа довольны, а для бедных все равно, кто повелевает». Так, вековым гнетом искореняется народное чувство. Оно пробуждается сначала в высших слоях и только мало-по-малу распространяется в массах.

Осмотревши в очаровательное осеннее утро прелестные Борромейские острова, с их редкими растениями и искусственными гротами, налюбовавшись озером, я проехал в Лугано, которое произвело на меня еще более чарующее впечатление: сохраняя тот же итальянский характер, оно уединеннее и живописнее других озер. Здесь я любовался и фресками Луини в Луганском соборе. Ранним утром я нанял лодку и из Лугано поехал к концу озера в Порлецца. Мне казалось, что я плыву в каком-то волшебном крае. Утро было совершенно тихое, но несколько туманное. Сквозь прозрачную мглу, освещенную лучами солнца, виднелось и гладкое зеркало озера и очертания окружающих гор и расстилающаяся у подножия их зелень деревьев. Из Порлеццы я пешком прошел к Комскому озеру и переправился в Белладжио. Тут опять представилось новое очарование. Я пробыл здесь два дня, то катаясь по озеру, то осматривая прелестные виллы, то любуясь открывающимися по обе стороны мыса волшебными видами.

Все это путешествие завершилось Венециею, где я пробыл на этот раз дней десять. Я осмотрел ее уже не как новичек, у которого кружится голова от всего окружающего великолепия, а как человек несколько проникнувший в тайны искусства и спо-

собный оценить всякую подробность. Не было церкви, куда бы я не заглянул, не было картины, котоооой бы я не осмотрел с должным вниманием. На этот раз я понял и всю красоту древних мозаик, которые прежде казались мне уродливыми. Я увидел, что эти строгие византийские формы гораздо лучше вяжутся с архитектурными линиями, нежели более изящные образы новейших мозаистов. Собор св. Марка, с наполняющими его сокровищами, притягивал меня все более и более. Но не менее я любовался и пышными фресками Веронезе, изображавшими всю роскошь Венеции, достигшей вершины своего могущества и славы. Я видел и погибшую потом великолепную картину Тициана — Мучения св. Петра. Всего более, однако, привлекали меня мадонны Беллини, в которых строгость и чистота соединяются с удивительною нежностью и грацией. Я предпочитал их едва ли не всем мадоннам, которых я дотоле видел. Выше их я впоследствии ценил одну только Сикстинскую, которую вскоре потом увидел в Дрездене, и которая, после всех чудес Италии, представилась мне высшим перлом нового искусства, совершеннейшим сочетанием возвышенной и глубокой идеи с полной художественностью форм.

Утро посвящалось осмотрам, вечером же я садился в гондолу и при заходящем солнце наслаждался видом дворцов, церквей, каналов и лагун. И еще более нежели в первый раз все это сознательно производило на меня впечатление полного и гармонического целого, где разлитое всюду художество, с совершенно своеобразным отпечатком, выражало самобытный характер некогда роскошно развивавшейся здесь жизни. Это было вместе с тем и последнее мое прощание с Италией. После этого я не раз туда возвращался, но никогда уже с тою свежестью чувств, которая жадно вбирает в себя новые впечатления и наполняет душу неведомым дотоле восторгом.

От итальянской природы и итальянского искусства я разом перепрыгнул в совершенно иную область, в мир немецкой учености. Первая моя остановка, Вена, в этом отношении представляла немного. В сущности это было не более, как отражением Германии. Я познакомился с несколькими профессорами, слушая их лекции; но единственный человек, который произвел на меня впечатление, был все-таки Штейн. С ним я более и более сближался, и все более ценил этот тонкий, разнообразный, оригинальный, хотя и не всегда верный ум. Его беседы доставляли мне истинное наслаждение.

Отправляясь из Вены в Берлин, я не мог миновать Праги, центра славянского движения. Тогдашний наш посланник при

австрийском дворе, Балабин, дал мне письмо к Ганке, который принял меня с распростертыми объятиями, показывал все и знакомил со всеми. Он повел меня в новопостроенный театр, где на непонятном мне чешском языке давали шекспировского Кориолана. Меня уверяли, что грамотность у них так распространена, что даже земледелец, идя за плугом, читает Шекспира. Ганка ввел меня и в Чешскую Беседу, где по вечерам собирались политические люди и литераторы. Старик ходил туда всякий день ровно в 7 часов, спрашивал обычную кружку пива и ровно в 9 уходил домой. Однажды он стал рассказывать мне, как он, будучи еще мальчиком где-то в глуши, вдруг нечаянно увидел славянские письмена и воспламенился неодолимым желанием читать по-славянски; как он из своей деревни ушел пешком и пришел в Прагу к Добровскому, умоляя, чтобы тот его выучил. Старик так воодушевился этими воспоминаниями, что уже 9 часов давно пробило, и все с удивлением видели, что Ганка продолжает рассказывать. Наконец, он взглянул на часы, опрометью вскочил и побежал домой. Из чешских знаменитостей, Палацкого в то время не было в Праге, но я познакомился с Шафариком, Ригером, Эрбеном и другими. Должен сказать, что я получил глубокое уважение к чешскому движению. Меня поразил и умилил вид этого маленького народа, который, стесняемый со всех сторон могучими соседями, вооруженными всеми средствами, какие дают и физическая сила и умственное превосходство, отстаивал свою независимость чисто духовным оружием. «У нас сняли голову», — говорил мне Ригер, — и мы теперь принуждены все тело восстановлять из ног». И точно, когда я пришел в театр, я с изумлением увидел, что партер набит битком, а ложи первых ярусов совершенно пусты. Но в сущности возрождение произошло не из народной массы, а из небольшого кружка просвещенных литераторов и ученых, которые зажгли светоч, озаривший самые глубокие слои и соединивший всех около общего знамени.

Совсем иное впечатление произвел на меня Берлин. Холодный, правильный, разбитый на квадраты, он не затрагивал ни одной сочувственной струны в моей душе. Замечательная по художественному исполнению статуя великого короля возбуждала мысль о правителе, только умевшем грабить своих соседей. Рядом с этим статуи героев отечественной войны напоминали времена подъема народного духа; но что осталось от этого подъема? Столица северной Италии, Турин, также разбитая на квадраты, во многом напоминал Берлин; но там была широкая политическая жизнь, там я видел народный энтузиазм. Здесь же политическая жизнь была самая жалкая; парламент был совершенно бессилен.

Принц-регент по собственной инициативе призвал к управлению умеренных либералов, которых тогдашний наш посланник в Берлине, барон Будберг, характеризовал, как собрание воинствующих посредственностей. Поднятый с таким шумом германский вопрос замолк, до тех пор пока за него, несколько лет спустя, ни принялся государственный деятель, который, идя по стопам Фридриха II и сочетая глубокое коварство с железною энергиею, умел перевернуть всю Европу и сделать Пруссию могущественнейшею державою в мире, не возбуждая впрочем сочувствия в тех, которые не поклоняются силе, а ищут удовлетворения высших потребностей человека[1]. В то время, как я был в Берлине, самая умственная жизнь, некогда стоявшая столь высоко, не представляла ничего. В университете, где читали Фихте, Гегель, Шлейермахер, Ганс, Савиньи, теперь почти что некого было слушать. Я был на нескольких лекциях и ни одна меня не удовлетворила. К Гнейсту у меня было письмо от Моля; но при знакомстве с ним меня постигло такое же разочарование, как и тех, которые при вступлении его в парламент, ожидали от него многого и нашли очень мало. Знание английских учреждений в прошедшем и настоящем, действительно было громадное, но политического смысла не было никакого. Он все носился с нелепою мыслью, над которою смеялся и Моль, что для упрочения парламентского владычества в Пруссии, король должен актом личной воли заставить прусских юнкеров взять в свои руки все местное управление. «Надо заставить этих господ», — повторял Гнейст, и я слушал с удивлением такое необыкновенное понимание существа и условий свободы. Гнейст уверял, что то же самое должна сделать и королева Виктория, чтобы предупредить искажение английских учреждений. Конечно, ни одному англичанину не мог пригодиться такой рецепт немецкого профессора.

Без сожаления покинул я Берлин и направился в Мюнхен. Мне очень хотелось познакомиться с Блунчли, к которому у меня также было письмо от Моля. Им я остался чрезвычайно доволен. У него, конечно, были свои недостатки. Лишенный основательного философского образования, явление в Германии довольно обыкновенное при тогдашнем упадке философии, он увлекся фантазерством земляка своего Ромера и стал развивать совершенно неприложимые к государственной жизни понятия об органических отправлениях, принимаемых в буквальном смысле. Это было тем удивительнее, что по натуре у него был ум трезвый, ясный и сильный. Лекции он читал превосходно. Мы много с ним бесе-

[1] Автор имеет в виду германского канцлера Бисмарка (1815—1898).

довали и во многом сходились. Он выражал мне несбывшуюся уверенность, что я буду играть видную роль в моем отечестве. «У вас есть свои мысли», — говорил он, — «я живу в стране гораздо более образованной, нежели ваша, и вижу, как мало вообще людей, у которых есть собственные мысли. Большая часть повторяет только чужие». Он не знал, что в России собственные мысли менее всего требуются и менее всего терпимы. Лет десять спустя после австро-прусской войны, я снова встретился с Блунчли в Берлине. На этот раз мы с ним поспорили насчет политики Бисмарка, которую он поддерживал, и которой я не мог сочувствовать. Он занес этот разговор в свои записки, которые были напечатаны после его смерти, и заметил при этом, что для него всегда странно, когда русские говорят о праве и свободе. Он не понимал, что именно потому, что у нас так мало того и другого, мы особенно дорожим этими началами у других. Когда гораздо более образованные народы оказывают им презрение, то чего же нам требовать у себя? Блунчли напирал на то, что немцы народ негосударственный и что с ним без насилия ничего не сделаешь. Но, конечно, подобный довод не мог быть для меня убедительным. К чему привело это насилие, у всех на глазах? Оно произвело тот страшный милитаризм, который тяготеет над Европою и подавляет все духовные ее стремления.

Блунчли повез меня к Зибелю, который в то время был профессором в Мюнхене и произвел на меня также самое лучшее впечатление. Я познакомился и с Пёцлем, с Карьером, с Боденштедтом. Раз в неделю мюнхенские профессора собирались вечером в маленьком ресторане и за кружкой пива вели оживленные беседы. Меня приглашали на эти собрания, оставившие во мне самое приятное воспоминание. Здесь немецкая ученость соединялась с немецким добродушием, господствовало настроение, которое так хорошо обозначается словом Gemüthlichkeit. После Берлина, тут всего яснее представилось мне различие между южною Германиею и северною. В первой сосредоточивается все, что в немцах есть симпатического; вторая является представительницею отталкивающих сторон немецкого характера. Немец до сих пор остался тем, чем он был в средние века, носителем двойственного мира: с одной стороны — он добродушный идеалист, с другой стороны — он грубый варвар. Во времена политического бессилия преобладала первая сторона, представляемая преимущественно южными немцами, хотя в то время и север отчасти поддавался тому же направлению. Эта эпоха и произвела тот высший цвет немецкой поэзии и немецкой философии, который составляет неоценимый вклад в духовную жизнь человечества.

В настоящее время, с переходом центра тяжести в Берлин, на первый план выдвинулась вторая сторона; добродушный мечтатель затмился; остался грубый варвар [1].

Погостив в Мюнхене, осмотревши все его примечательности, я в начале 1860 года поехал в Париж, думая провести там остальную зиму. Но тут я получил ошеломившее меня известие из дому: отец скончался. Из Эмса он поехал домой, повидимому, совершенно поправившись; но уже дорогой оказалось у него возобновление болезни. Он понял, что дело непоправимо, и не хотел более лечиться, а поехал доживать последние свои дни в любимый Караул. Однако он никому не говорил о своих предчувствиях и старался даже скрывать свое положение. В Вене я получил от брата письмо, которое несколько меня встревожило, но затем пришло другое, успокоительное. Первое мое движение было тотчас ехать в Россию; но я сообразил, что мое внезапное появление могло еще более раздражить больного, а потому решился подождать дальнейших известий. Вследствие моих постоянных переездов, я долгое время их не получал: телеграфов еще не было, и все письма из дому посылались в Париж. Приехав туда, я тотчас побежал на почту, и тут узнал, что все уже было кончено. Это был самый жестокий удар, какой я дотоле испытывал в жизни. Никогда я так живо не чувствовал, как сильно и глубоко я любил отца. Я решил тотчас вернуться в Россию к матери, и затем уже, побывши с нею некоторое время, докончить свое путешествие. Брат Сергей в это время слушал лекции Рошера в Лейпциге. Я написал ему о своем намерении, и он присоединился ко мне в Берлине. С глубокою скорбью в сердце поехали мы на родину.

Приезд наш в Россию ознаменовался целым рядом неприятных впечатлений, составлявших резкий контраст с тою свободою и теми удобствами, к которым мы привыкли в заграничной жизни. Первый казус встретился на границе. Все вещи путешественников были уже осмотрены и мы собирались продолжать свой путь, как вдруг с таинственным видом входит чиновник и спрашивает: «Кто из вас Борис Чичерин?» Я сказал, что я. «Где ваш чемодан?» — «Вот он». — Чиновник приказал отнести его в другую комнату и сам вышел. Затем он вернулся и с тем же таинственным видом спросил: «Кто из вас Сергей Чичерин?» Повторилась та же история и с чемоданом брата. Оказалось, что мы

[1] Эти строки были давно написаны, когда разоблачения насчет истязаний, которым подвергаются немецкие солдаты, явились живым подтверждением высказанного здесь взгляда. Прим. Б. Н. Чичерина.

оба были отмечены, как опасные либералы; ожидали, что мы можем провезти в Россию всякие революционные издания. Наши вещи тщательно перешарили и отобрали все, что у нас было печатного. Ничего, однако, не нашли, кроме невинных путеводителей, да газет, в которые была завернута обувь. Все это и было отобрано, переписано и отослано в тайную полицию. А между тем, в это самое время, мои книги, которых было не мало, под казенною печатью пересылались через русскую границу прямо в Петербург. Опасаясь притеснений на таможне, я в Берлине заехал в посольство и просил знакомых отправить мои книги с курьером в Петербург. Это и было сделано. Я получил тут живую иллюстрацию господствующих у нас административных порядков.

Затем начались неприятности дороги. От границы до Ковно не было не только железного пути, но даже и дилижанса; надобно было ехать в линейке. В Ковно мы прибыли вечером и нашли отвратительную гостиницу, с нетопленной и грязной комнатой. На следующее утро нужно было добыть подорожную, ибо отсюда приходилось ехать на перекладной. Для этого недостаточно было предъявление заграничного паспорта; требовалось еще свидетельство от местной полиции о беспрепятственном выезде, которое я должен был доставать сам. В этих хлопотах прошло почти пол-дня; наконец мы выехали уже санным путем. Подъезжая к маленькой реченке, мы увидели на ней окрайны. Дорога шла вдоль берега и потом уже поворачивала на реку; но тут стоял небольшой обоз с лесом. Ямщик, не желая его дожидаться, прямо направился к реке. «Не езди, не езди, потонешь», закричали ему стоящие тут мужики. Я, видя, что он не слушается, схватил его за руку и пытался его удержать; но он только хлестнул лошадей и бухнул нас прямо в воду. Лед, конечно, не выдержал; лошади и сани провалились; мы сами и наши вещи были насквозь промочены. Пришлось ехать обратно на маленькую станцию и там сушить платье и отогреваться. Это была уже иллюстрация не правительственных порядков; а народного характера: русское авось и ничего проявлялись во всей своей прелести. И при всем том, я ощущал некоторое удовольствие, встречаясь с этими привычными мне с детства чертами. Переход от образованного благоустройства к первобытной дикости производил такое впечатление, как будто из тесной долины выезжаешь на простор. Кой-как добрались мы до Острова, откуда уже железная дорога, через Петербург, довезла нас до Москвы.

В Москве старые друзья и товарищи встретили меня самым радушным образом и проводили меня обедом у Владимира Самарина. И тут, после долгого путешествия, охватило меня отрадное

чувство возвращения в родной город. Насмотревшись Европы, я оценил и всю живописность Москвы, особенно, когда вернулся в нее весною. Я все любовался холмистым местоположением, прелестным видом с кремлевских высот, множеством церквей, отдельно стоящими приютными домиками, а весною — обилием зелени их окружающей. Все это было так своеобразно и вместе так говорило сердцу, что я живо ощутил всю невозможность оторваться от родной почвы и переселиться в чужие края. Я чувствовал что здесь я должен жить и умереть.

Затем предстояла дальнейшая, и притом ужасная дорога. Снегу в эту зиму навалило необыкновенное множество, и ухабы были страшные. Как я ни привык к нашему зимнему пути, но ничего подобного я в жизни не испытывал; а тут пришлось это испытать после удобств заграничного путешествия. Из Москвы до Рязани мы ехали в тяжелом дилижансе. На каждом шагу он вваливался в ухаб, а если выбойна была порядочная, то и совершенно в ней застревал. Приходилось дожидаться, пока подъедет какой-нибудь обоз. Кондуктор сзывал людей, и они совокупными усилиями вытаскивали из ямы грузную громадину. А через четверть часа опять повторялась та же история. В Рязани мы пересели уже в легкие сани, и тут надобно было днем и ночью крепко держаться, чтобы не вывалиться из экипажа, который поминутно перебрасывало из стороны в сторону, из одной ямы в другую. О сне, конечно, нельзя было и думать. Когда же мы, наконец, въехали в свои степи, пришлось по глубоким сугробам ехать гуськом. Так добрались мы до Караула.

Здесь мы нашли всю семью под удручающим впечатлением недавней утраты. В первый раз караульский дом, прежде столь оживленный и веселый, постигнут был великим несчастием. В нем царствовала тишина, знак глубокого горя. К тому же и мать была больна; она не могла меня даже видеть. В самую минуту смерти отца у нее от внезапного прилива крови сделалось воспаление глаз. Ее лечили и мы надеялись, что она скоро поправится. Мы не подозревали, что выздоровления не будет; ей суждено было остаться слепою навек. Впоследствии доктора объяснили, что от накопления слез произошел разрыв сосудов. Надобно было тут же сделать операцию; но кто мог сделать это в деревне? Когда ее повезли в Москву, было уже поздно.

Не могу сказать, с какою сердечною болью увидел я комнату, где умер отец, слушал рассказы о его тихой кончине. Кроме неразлучной спутницы его жизни, которая до самого конца окружала его самыми нежными заботами, и пятерых из младших детей, тут были и старые друзья дома: Сергей Абрамович Бора-

тынский, Антон Аполлонович Жемчужников, Петр Андреевич Хвощинский. Они вместе с детьми несли его гроб к последнему жилищу. Мне было горько и больно, что меня не было тут. Одно меня утешало, мысль, что отец жил и умер, как следует человеку, как можно пожелать всякому: он жил окруженный счастливою семьею, добрыми друзьями и общим уважением, разумно и честно устроил свои дела, поставил всех детей на ноги, наслаждался первыми их успехами на жизненном поприще, и тихо скончался в любимом, им самим созданном гнезде, где все говорило его сердцу, и где он с полным домом оставлял дружную семью, воспитанную в нравственных правилах и тесно соединенную вокруг матери. Вернувшись опять за границу, я писал брату Василию: «Как ни печальны были обстоятельства, при которых я возвратился домой, мне было хорошо и тепло в своем гнезде. Все там напоминало отца, он там был близок и жив во всем, что он создал, и было что-то отрадное в сознании, что мысль его не погибла, что она жива в новом поколении, которое с новыми силами и новою любовью продолжает его дело. Посадки, заботы об украшении дома получают двойную цену вследствие этого предания о дорогом человеке. Правда, семья была в сборе и дом не казался пустынным. Но мне кажется, что если бы я даже жил в нем один или по крайней мере вдвоем, я и тут чувствовал бы себя счастливее, нежели где бы то ни было. Ты от Караула отвык, а для меня там сосредоточивается все, что я люблю больше всего на свете. Только там я дома, а всякое другое место для меня чужое».

Унынию, господствовавшему в караульской сёмье, которого не могла разогнать добродушная веселость милого Петра Андреевича, безотлучно остававшегося при матери в эти печальные дни, соответствовала и суровость внешних впечатлений. В начале марта был такой буран, какого я не видал в жизни. Девять дней сряду без перерыва несла ужасная вьюга; ветер врывался сквозь двойные окна, выдувал подоконники в дверях. Обращенная на восток передняя часть дома, всегда необыкновенно теплая, сделалась так холодна, что в ней нельзя было сидеть и мы держались в задней. Все сообщения были прерваны. Путешественники должны были девять дней сидеть на станции, где их застала погода. Крестьяне могли кормить свой скот, только проделавши дыры в крышах. Множество людей и животных погибло. Снегу нанесло столько, что когда утихла метель, во многих местах можно было ездить по кровлям. Это было страшное ополчение природы, перед которым человек чувствовал все свое бессилие.

Скоро, однако, первые лучи весеннего солнца внесли новую

жизнь и в природу и в удрученные сердца людей, которые оттаяли вместе с землею. Именно в эти минуты затишья после сильного горя всего глубже западают в душу впечатления природы. Закрытая для всего остального, она раскрывается для вечного, установленного в мире порядка явлений. Каждый шаг новой весны, сливаясь с воспоминаниями всех прежних весен, с образом золотых дней детства, вызывал давно умолкнувшие ощущения. Живительное обаяние воздуха, согретого внешними лучами, первые проталины, пробивающаяся на них свежая травка, появляющиеся из-под снега желтые и синие цветы, все более и более распространяющиеся по отталой земле, затем прилет птиц, пение жаворонка высоко в небе, крик собирающихся стадами гусей, журчание потоков, наконец, широкое половодье, затопляющее всю окрестность, то сверкая на солнце, то расстилаясь зеркальною гладью, отражающею синее небо; все это быстрое шумное, чарующее пробуждение и обновление природы повергало душу в какой-то неизъяснимый восторг. После всех виденных мною чудес, я приходил к убеждению, что лучше русской весны нет ничего на свете. И когда затем эта весна раскрылась в полной своей прелести, когда зазеленели деревья, зацвели луга, развернулась душистая черемуха, когда, как бы пушистою снежною пеленою покрылись вишни и яблоки, а вокруг дома все украсилось пышным цветом сирени, когда в рощах раздался громкий хор соловьев, сливаясь по ночам с криком коростеля и с гулом лягушек, я еще сильнее прежнего почувствовал все очарование мирной сельской природы, которая была мне несравненно ближе и роднее, нежели волшебные картины Италии и живописное величие швейцарских долин. И впоследствии, не раз, когда я, налюбовавшись великолепными видами юга, приезжал в скромную русскую деревню, с ее расстилающимися вдаль полями, где никакая преграда не отделяет одного владения от другого, с ее патриархальною простотою и широким привольем, мне казалось, что я точно от светского общества разряженных и убранных дорогими каменьями красавиц возвращался в свой приютный домашний уголок к законной жене, не блистающей пышными нарядами, но гораздо более говорящей сердцу. Только в России, где земля так обширна, а население так скудно, где человек не наложил везде на природу свою руку, не покорил ее себе, а затрогивает ее только слегка, оставляя ее большею частью в первобытном виде, сохранилась настоящая деревня. И с своей стороны природа не подавляет человека своим величием и красотою, не уносит его в волшебные края, а живет с ним мирно и любовно, доставляя ему все нужное без усиленного труда и сохраняя над ним свое тихое

обаяние. Чем старее я становлюсь, тем более по душе мне приходятся именно эти сельские впечатления. Великолепные картины оставляют меня равнодушным, а волнующаяся по широкому полю нива, мирная речка, с растущим по ней камышем, тенистая роща, солнечный луч, пробивающийся сквозь прозрачную зелень деревьев, затрогивают глубокие струны сердца и вызывают рой воспоминаний о давно прошедших и невозвратных днях молодости. До конца жизни человеку всего ближе и всего дороже то, что запало ему в душу в ранние годы и что связано с впечатлениями детства.

Радостные ощущения весны были временно нарушены новою болезнью матери. У нее сделалось опасное воспаление в боку во время самого половодья, когда трудно было добыть доктора. К счастью, брат Андрей сам была медик; он принял решительные меры и ее спас. Когда же тревога миновалась, настала новая семейная радость. Брат Владимир задумал жениться на второй дочери С. А. Боратынского. Старая дружеская связь отцов переходила и на новое поколение. Он получил благословение матери, и мы с ним вдвоем поехали в Мару [1]; оттуда он вернулся женихом. Однако, на свадьбу я не остался. Надобно было ждать три месяца, а у меня оставался всего год для изучения Англии и Франции. В конце мая я простился с семьей и поехал прямо в Лондон.

Я попал на Международный статистический конгресс, который сделал на меня впечатление огромной комедии. Я постоянно ходил на заседания юридического отделения, из которых я надеялся извлечь что-нибудь для себя полезное, однако напрасно. Председательствовал лорд Брум, который в статистике ничего не понимал и ею вовсе не интересовался, но очень доволен был разыгрывать важную роль председателя. Ни одного дельного прения я не слыхал. В числе говорящих отличался между прочим только что кончивший курс в Московском университете студент Куломзин, впоследствии управляющий делами Комитета министров. Нахватавшись кой-каких сведений в свое кратковременное пребывание в Германии, он ловко умел пускать ими пыль в глаза и производил впечатление особенно на невинного председателя. Я удивлялся, как его смелости, так и наивности слушателей; но высокого понятия о конгрессе я через это не мог получить.

Под конец все члены конгресса, то есть, записавшиеся на него лица были приглашены на огромный раут к лорду Пальмер-

[1] Соседнее с Караулом имение Боратынских. Там жил и поэт Е. А. Боратынский.

стону, который тогда был первым министром. Все высшее английское общество можно было видеть в этой невообразимой толкотне. Тут я встретил молодую англичанку, с которою я познакомился в Риме, обедая с нею всякий день за табльдотом. Увидев меня, она воскликнула: «Неправда ли, как это мило быть на Статистическом конгрессе?» Этот эпитет показался мне тем более подходящим, что за несколько месяцев перед тем я встретил ее в Турине, на станции железной дороги, в сопровождении жениха и с чучелом лисьей головы на коленях, и когда я спросил, зачем у нее это чучело, она точно так же воскликнула: «Неправда ли, это очень мило, лисья голова?» Она зазвала меня к себе, объявив с самодовольною улыбкою, что теперь она принадлежит к палате пэров. Когда я пришел, мать ее таинственно и важно сообщила мне, что дочь ее замужем за помощником церемониймейстера палаты лордов, а отец ее зятя сам церемониймейстер палаты лордов. Тут же она поведала мне всю генеалогию и всю родню знаменитого рода Клиффорд. Дочь пригласила меня в церковь, посмотреть свадьбу дочери лорда Кларендона, сказавши, что там я увижу весь цвет английской аристократии. Церковь была приходская и у нее было свое место. Но тут произошел маленький инцидент: какая-то другая дама заняла место, принадлежавшее моей спутнице, а последняя старалась отстоять свои права. «Неправда ли, какая это неучтивая особа?» — сказала она мне при выходе. Чтобы немного ее поддразнить, я заметил, что она была даже несколько взволнована. «Неужели?» — воскликнула она в ужасе. «Ведь это очень вульгарно, быть взволнованной». Все это были для меня забавные черты английских нравов и понятий.

Еще с бо̀льшим комизмом поразило меня заседание собиравшегося при Статистическом конгрессе общества для распространения десятичных мер и весов, на которое повел меня однажды Капустин, находившийся тоже в Лондоне. Председательствовал лорд Эбрингтон; секретарем был знакомый Капустину Мичель, состоявший при английском посольстве в Петербурге. Когда мы вошли, говорил сэр Джон Боуринг, известный последователь Бентама, а за ним начал нескончаемую речь какой-то господин, который всю свою жизнь посвятил распространению десятичной системы, черта чисто английская. Я уныло сидел в углу и слушал это скучное разглагольствование. Вдруг вижу, секретарь окидывает взором собрание. Заметив меня, он тихонько меня подозвал и просил предложить резолюцию в смысле деятельности общества, сказавши, что им особенно желательно, чтобы предложение исходило от иностранца. Меня это забавляло и я

ответил, что если это доставляет им удовольствие, то я ничего против этого не имею. Однако вскоре он переменил свой план и нашел почему-то лучшим, чтобы предложение сделал швед, а я бы его поддерживал. Я и на это изъявил согласие. Тогда лорд Эбрингтон важным голосом прочел написанную им, но предложенную будто бы шведом, резолюцию: «пора напирать на правительства, чтобы повсюду ввести десятичные меры и весы». Я встал и сказал, что готов был поддерживать эту резолюцию, но должен заметить, что в России не так легко напирать на правительство, как в других странах. Председатель с серьезным видом тотчас принялся что-то писать, и скоро из-под его пера вышла новая редакция, в которой слова: «напирать на правительства» были заменены словами: «почтительно представить правительствам». Лорд Эбрингтон спросил меня, имею ли я что-нибудь против этого оборота; я отвечал, что ровно ничего, и резолюция была принята единогласно. Не знаю, напирал ли кто на правительства, или представлял им почтительно; в России во всяком случае никто об этом не думал и подержанная мною резолюция осталась только в моей памяти в виде комического эпизода из жизни международных съездов.

Мы с Капустиным знакомились и с другими курьезами чисто английской общественной жизни. В это время между рабочими шла деятельная агитация в пользу девятичасового рабочего дня. Мы пошли на маленькое сборище, где какой-то господин в течение часа плавно и гладко говорил невообразимую политико-экономическую чепуху, ссылаясь даже на короля Альфреда и доказывая, что девять часов составляют максимум нормального рабочего дня для всякого человека. Аудитория состояла из рабочих, которым, конечно, весьма приятно было работать меньше, а получать за это ту же самую плату. Все они тотчас подписались членами союза, имевшего целью осуществление этой программы. В настоящее время дело идет уже не о девятичасовом, а о восьмичасовом рабочем дне. Надобно надеяться, что со временем рабочий день совершенно сократится, а будет получаться только заработная плата.

Мы пошли и в один из клубов, в которых ведутся прения о текущих политических вопросах. Какой-то господин с сигаркою в зубах важно сидел на председательском месте, и разные оборванные и засаленные ораторы говорили один за другим, подражая приемам английского парламентского красноречия, что, конечно, походило на каррикатуру. Мы спросили по кружке пива и сели за стол. Против нас сидел какой-то человек в нищенском одеянии, положив руку и голову на стол. Повидимому, он спал, и так как

его шея сзади была совсем открыта, то мы видели, что на нем не было следа какого бы то ни было белья. Вдруг этот человек вскочил, когда дошла до него очередь, и не останавливаясь, без малейшей запинки, точно в старину русские семинаристы, в течение получаса проговорил речь, в которой можно было только понять что он Кобдена и Брайта считает людьми второстепенного свойства, не стоящими на уровне современных требований. Проговоривши последнее слово, он разом опустился на стул и тотчас положил опять руку и голову на стол; и опять нам стало видно, что у него нет ни малейшего следа рубашки. Все эти своеобразные проявления английского общественного красноречия производили на нас впечатление комическое и странное. Это было как бы неуклюжее отражение прекрасного образа в ломаном зеркале.

Такой же забавный эпизод доставил нам и один из наших соотечественников. Еще в первую мою бытность в Лондоне, Герцен с большим юмором рассказывал мне, как князь Юрий Николаевич Голицын, задумавши ехать из России в Лондон, наперед прислал своих людей, которые заняли для него великолепный аппартамент в одной из первых гостиниц, но скоро проели все деньги и пришли просить их у Герцена. Тот, однако, денег не дал, а советовал им жить поскромнее. Вскоре прибыл и сам князь Голицын с похищенною в России девицею и с большим крокодилом, купленным в Египте. Этот крокодил был торжественно выставлен на балконе, но через несколько дней умер, вероятно потому что ему тоже нечего было есть. В короткое время у его хозяина все деньги ушли, и он принужден был поступить на службу к подрядчику концертов Мелону, который развозил его по Англии на показ, как любопытного зверя, и теперь привез его обратно в столицу. Однажды, взглянув на приклеенную к стене афишу с объявлением о концерте, мы с Капустным вошли в маленький, весьма невзрачный зал и увидели тут действительно князя Юрия Николаевича Голицына, дирижирующего оркестром. На афишке, в числе прочих исполняемых пьес, напечатано было огромными буквами: Герцен-вальс и Огарев-полька, сочинение князя Ю. Н. Голицына. Однако эти волшебные имена не служили приманкою для англичан. Публики было очень мало, а рукоплесканий и того менее. Подрядчик наконец рассчитал дирижера, который не приносил ему дохода. Голицын принужден был принести повинную и вернулся в Россию.

Несколько позднее я имел случай проникнуть и в лондонские трущобы. В Лондон приехал граф Г. А. Строганов, муж великой княгини Марьи Николаевны. Он через посольство получил полицейскую стражу и мы вдвоем совершили ночной обход Восточного

конца, заходили в смрадные трактирчики, где матросы плясали с публичными женщинами, в углы, служащие притоном всяким мелким и крупным мошенникам, в ночлежные дома, битком набитые нищими и бродягами. Грубость, грязь и нищета всего этого населения представляли резкий контраст с роскошными дворцами, великолепными парками и блестящими экипажами западной половины Лондона.

Но изучая темные низменности английского быта, я любовался и великими его сторонами. Я ходил в Парламент, и тут в первый раз услышал политическое красноречие во всем его блеске, в его обаятельном действии на слушателей. Это была уже не маленькая туринская камера, где я не понимал ни слова и из которой я мог выносить только чисто внешнее впечатление. Это был старейший парламент в мире, родоначальник европейской свободы. Это была та знаменитая палата, где ратовали Чатам и Питт, Фокс и Шеридан. Статуи этих великих бойцов стояли у преддверия, как бы живые в ораторских позах. Я с восторгом слушал их славных преемников, Дизраэли, Гладстона, Росселя, Пальмерстона. Мне казалось, что сильнее свободной и увлекательной речи ничто не может действовать на человека. Отсюда я ходил и в смежное Вестминстерское аббатство, этот пантеон великих людей Англии, знакомых мне с детства, поэтов, ученых и государственных деятелей. Я находился в средоточии жизни, которая в течение многих веков проявляла все высшие силы человеческого духа и по всем отраслям производила недосягаемые образцы. Но в отличие от Турина, тут не было в то время ни жгучих политических вопросов, ни носящегося в воздухе народного энтузиазма. Я видел перед собою издавна вошедшую в нравы и в обыденную жизнь политическую деятельность великого народа, гордого своею свободою, носящего в себе славные предания, не стремящегося уже к приобретению новых прав, но спокойно уверенного в прочности приобретенного, уважающего власть, но чуждого всякой тени раболепства. Многое в английском быте не было мне сочувственно: чрезмерное неравенство, преклонение перед аристоркратиею, грубость низших классов, упорное сохранение обветшалых форм; но парламентские учреждения бесспорно составляли высший идеал политической свободы, выработанный историею образец для всех народов мира. Не всем дано его достигнуть; но все, во имя человеческого достоинства, обязаны к нему стремиться.

Рядом с этим я ревностно изучал современные английские законы и установления, углублялся в Блакстона и Стифена, читал парламентские синие книги, в особенности же старался познако-

миться с практическою, живою стороною учреждений. У меня было много знакомых между юристами и адвокатами. Я часто с ними беседовал, усердно ходил в суды и в заседания юридических обществ. В одном из близких к Лондону графств держались в то время ассизы [1], и я туда поехал с письмом от одного из знакомых адвокатов. «Если вы случайно не найдете там адресата,— сказал мне мой приятель, — отдайте кому-нибудь другому. Когда вы знаете одного из нас, вы знаете всех». И точно, меня приняли самым радушным образом, ввели в свой круг, показывали и объясняли мне все. Вообще, я вынес самое приятное впечатление от радушия, гостеприимства и любезности английских адвокатов. Это, может быть, та часть английского общества, с которою сближение всего легче и приятнее. В них нет английской чопорности, великосветских претензий и этикета. Английское радушие соединяется здесь с полною непринужденностью. Я пленялся и выработанными веками, строго законными формами публичного и гласного судопроизводства, в то время еще неизвестного в моем отечестве. Но вместе с тем я был поражен недостатками чисто обвинительного процесса. Подсудимому даются все гарантии, но зато невинный свидетель под перекрестным допросом подвергается настоящей пытке. Отсутствие допроса обвиняемого и запрещение показаний по наслышке часто оставляет многое невыясненным. Я видел разительные примеры, как иногда самому подсудимому вредит невозможность сделать на суде показание. В этом отношении французское судопроизводство казалось мне значительным усовершенствованием английского, хотя за последним остается установление основных гарантий правильного суда.

Осмотрев в Лондоне все, что мне было доступно и что могло меня интересовать, я отправился внутрь страны. Мне хотелось видеть провинцию, в особенности мировые учреждения. Один из знакомых адвокатов, секретарь Общества для поощрения общественной науки, Гестингс, доставил мне приглашение на годичный съезд этого общества, который в начале октября должен был состояться в Глазго. Я воспользовался этим случаем, чтобы посмотреть Шотландию: из Эдинбурга я проехал по стране, некогда заселенной прославленными Вальтер Скоттом горцами, ныне представляющей пустыню, где пасутся стада, а осенью охотятся англичане. Мне случилось ехать в дилижансе по этим пустырям с каким-то недавно вернувшимся из Индии английским офицером. Мы несколько часов с ряду проезжали по совершенно голым местам, которые почему-то называются Оленьими лесами. Когда

[1] Сессия суда присяжных.

мы спрашивали, чьи это владения нам все отвечали одним именем: маркиза Брэдолбэн. Ехавший с нами господин постоянно с подобострастием повторял: his Lordship, титул несравненно более внушительный в Англии нежели у нас: его превосходительство. Наконец, приехавши на какую-то станцию, мы на всех стенах увидели самого маркиза Брэдолбэн. «У вас нет таких тузов на континенте», — с грустью сказал мне мой спутник. И точно, тут с непривлекательной стороны представляются обширные английские поместья, из которых вытеснено туземное население, а что остается, укрывается в бедных землянках, где не хотел бы жить русский мужик.

Из Обана я на пароходе в великолепный осенний день, проехал на Стаффу, посмотреть знаменитый грот Фингала, затем любовался шотландскими озерами, Лох-Ломонд, Лох-Катрин, Лох-Тей. После Италии и Швейцарии все это, конечно, казалось мне довольно посредственным. Только воспоминания романов Вальтер Скотта придавали поэзию краю.

В Глазго меня встретил Гестингс. В качестве почетного иностранца меня поместили к одному из местных тузов, господину Дункану, который носил звание декана гильдий и жил на даче недалеко от города. Тут же должен был помещаться Мишель Шевалье, который, однако, к большому моему сожалению, на съезд не приехал. Сам хозяин, старый холостяк и тори, довольно угрюмого нрава, представлял немного интересного; но его гостеприимство не оставляло ничего желать. Все время он меня кормил и поил отлично, всякий день возил на конгресс, показывал фабрики и все примечательности города, и все это притом, без малейшего принуждения.

Что касается до конгресса, то и этот ученый съезд произвел на меня странное впечатление. Толпы народа обоего пола ходили, как на зрелище, из одного отделения в другое; читалось множество самого разнообразного свойства записок; но путных прений я и тут не слыхал. Каждому дозволялось говорить только десять минут, что вело иногда к забавным сценам. В одном из отделений председательствовал сэр Джон Пакингтон. По какому-то важному вопросу просил слова известный историк, сэр Арчибальд Ализон. Но едва он закончил свой приступ, как уже десять минут истекли, и председатель с грустным видом показал ему на часы. «Впрочем, — прибавил он, — вы такое всеми уважаемое лицо, что я даю вам еще десять минут». Историк обрадовался и продолжал свою речь; но прежде нежели слушатели узнали, что именно он хочет сказать, новые десять минут истекли, и тут уже председатель был неумолим. Историк сел с отчаянным жестом. Вообще, мне пока-

залось, что все эти съезды служат более для увеселения, нежели для серьезного дела. Единственная польза, которую они приносят, состоит в собирании сведений, но и это может делаться помимо их. Основательное же обсуждение вопросов тут немыслимо и еще менее могут иметь значения решения по большинству голосов, в которых принимает участие масса случайно собравшейся публики. Вся эта толкотня, суета и говорение пустых речей достойно завершились многолюдными обедами. Сначала дал обед городской голова. Так как лорд Брум был председателем съезда, то хозяин попросил его итти вперед, но тот в ужасе отступил и воскликнул: «герцоги, герцоги!» и тогда выступили вперед герцог Монтрод и другой, имени которого я не припомню. Затем, в виде финала, последовало громадное общее пиршество с бесчисленными речами, наполненными хвалами ничего не делавшему председателю. Подле меня сидел какой-то шотландец, который, слушая, приходил в негодование и с горечью говорил: «Этот человек ненасытен до похвал». И вдруг, когда до него дошла очередь, он вскочил и произнес лорду Бруму такой панегирик, перед которым бледнели все остальные.

Мой благодетель Гестингс пригласил меня приехать после съезда в Вустер, где жил его отец и где вскоре должны были происходить четвертные заседания мировых судей, особенно меня интересовавшие. Но времени еще было довольно и я хотел им воспользоваться, чтобы кой-что посмотреть. На съезде один господин читал записку о кооперативных товариществах, которые тогда только что возникали. Я подошел к нему и спросил, нельзя ли с этим ближе познакомиться. Он пригласил меня приехать к нему в Лидс. Я там застал его за прилавком. Это был мелкий торговец суконным товаром. С величайшей предупредительностью показал он мне все лавки, склады, книги и расчеты существовавшего там общества потребителей, затем пригласил меня к себе на дачу, где я ночевал, и наконец дал письмо в Рочдэль, где я осмотрел все заведение знаменитых рочдэльских пионеров. Оттуда я проехал в Манчестер, где видел пьяных баб, валяющихся по улицам а в субботу вечером собрание на площади рабочего люда, толкующего о политических вопросах. Многие и тут говорили с совершенно парламентскими приемами, но именно в этих речах толку не было никакого; когда же кто высказывал какое-нибудь замечание просто, то прорывалась искра здравого смысла. Я увидел, что в мало образованных людях стремление усвоить себе ораторскую рутину затмевает трезвый взгляд на вещи.

Направляясь к Вустеру, я заехал в деревню к лорду Эрскину, к которому у меня было письмо от его брата, секретаря англий-

ского посольства в Турине. Я увидел скромное и радушное житье английского семейства, принадлежавшего к высшей аристократии (лорд Эрскин был член палаты перов), но с небольшим состоянием. Чопорности и великосветских претензий не было и следа. К обеду, по английскому обычаю, разумеется, принаряжались. В первый день я, по принятому этикету, счел долгом явиться в белом галстуке, но видя, что хозяин дома в черном, я на следующий день тоже надел черный, а хозяин, чтобы не отстать от меня надел белый. Так мы три дня сряду менялись нарядами. Но за исключением этого, освященного непреложным законом обыкновения, стеснений не было никаких. Вечером приезжал доктор и составлялась маленькая партия в вист. Все это напоминало мне мирную семейную жизнь в глухой русской деревне. По утрам, после завтрака, мы с хозяином гуляли пешком. Он повел меня на съезд мировых судей, который я в первый раз имел случай видеть. Тут же я присутствовал при собрании йоменов [1], которые совершенно напомнили мне русских помещиков, толкующих о лошадях и собаках.

Осмотревши затем близлежащий старый и любопытный город Честер, я прибыл в Вустер, где встретивший меня на вокзале Гестингс, объявил мне, что все мировые судьи, и я в том числе, едут на день в деревню к председателю съезда, лорду Додлей. Это был один из первых богачей Англии. В то время он был еще холостой и принял нас в своем лежавшем недалеко от Вустера великолепном поместьи, представлявшем образец английской аристократической роскоши и комфорта. Кругом обширного дворца, построенного в изящном итальянском стиле, простирался огромный парк с искусственными, обделанными мрамором прудами и высоко бьющими фонтанами. Это была настоящая вельможная резиденция. Угощение было подходящее к пышной обстановке. На следующее утро мы вернулись в город на съезд. И тут меня приняли самым радушным образом, сажали на заседаниях вместе с судьями, а за общим обедом всегда рядом с председателем. Не могу достаточно нахвалиться приветливостью англичан; но самое производство дел не произвело на меня хорошего впечатления. Лорд Додлей был человек небольших способностей, и плохой председатель. Когда я спросил, отчего его выбрали, мне отвечали, что не могли обойти самого крупного землевладельца в графстве. Занимая эту должность в течение нескольких лет, он немного навострился, но делал иногда удивительные промахи. В одном из дел, которые судились с присяжными, он совершенно неправильно поставил вопрос и когда при-

[1] Йомен — мелкий землевладелец.

сяжные вынесли обвинительный приговор, бывшие между судьями коронные юристы объявили, что остается прибегнуть к милосердию королевы, ибо приговор вынесен по ошибке. До этого, однако, дело не дошло: присяжных вернули, председатель поставил вопрос иначе, и получил новый вердикт, противоположный предыдущему. Это было чересчур бесцеремонное отношение к правосудию. Вообще, я убедился, что английские мировые судьи, с своим судебно-административным ведомством, связанные законами, которые требуют значительных юридических знаний, большею частью находятся в руках дельцов секретарей. Мне рассказывали даже про одного секретаря суда, который прямо говорил: «графство, которым я имею честь управлять».

После съезда Гестингс пригласил меня в деревню к его отцу, который был доктор и баронет. После мелкого торговца, небогатого лорда и пышного вельможи, это был новый образчик английской деревенской жизни. И тут я нашел полное радушие; но вместе с тем, надобно признаться, была непроходимая скука. По утрам мы с Гестингсом ходили пешком по окрестным горам, а после обеда мужчины спали перед камином, дамы же сидели в кругу и молчали. Мне после объяснили, что в Англии так водится. Нужно только держать себя смирно и не соваться с разговорами; тогда вас принимают за спокойного человека и все вас любят.

Вообще, я вынес из Англии весьма смешанное впечатление. И в этот и в следующий раз, когда я весною приехал в Лондон с рекомендательными письмами из Парижа, я сходился со многими людьми, с некоторыми даже весьма замечательными: с историком Гротом и его весьма умною женою, с журналистом Риволь, с лордом Амбортоном, с экономистом Синиором, с знаменитым Брайтом, и всегда замечал какую-то странную смесь ума и ограниченности, непринужденности и чопорности, радушия и неприветливости. Если я один раз находил необыкновенную любезность, то я мог быть уверен, что при следующей встрече, с другим человеком, а иногда и с тем же самым, я нападу на совершенно противоположное. В умственном отношении, я всегда чувствовал, что говоря с англичанином, надобно непременно становиться на английскую точку зрения. Беседуя с немцем о предметах науки, с французом обо всем на свете, чувствуешь себя даже при разности взглядов, в какой-то общей атмосфере; с англичанином, волею или неволею, переходишь на особую почву, со всех сторон огороженную. С пользою и удовольствием можно говорить с ним чисто об английских интересах, где он у себя дома, хотя он далеко не пренебрегает и другими. Напротив, в отличие от других народов, которые довольствуются своим, у него первое дело — соби-

рание всякого рода сведений; ему нужно все видеть, все узнать, часто неизвестно зачем, ибо цельного из этого ничего не выходит. Все эти сведения укладываются у него в голове, друг возле друга, вовсе не заботясь о взаимном соглашении. Всякий факт имеет для него значение чисто как факт, а не как выражение смысла. Английский ум, по преимуществу реалистический, менее всего способный к обобщению. В практической области они изумительны; в политической жизни они могут служить образцами для всех; но как теоретики, они крайне слабы. Самая теория английской конституции выработана иностранцами. Можно сказать, что целая высшая половина умственного мира для англичанина не существует. Когда же он пускается в эту область, то обыкновенно у него мысль заменяется своеобразною, а иногда и дикою фантазией. Отсюда полное отсутствие у них истинно философского смысла. Англия—отечество чисто реалистической, то-есть самой односторонней и низменной философии. Отсюда также необыкновенное уважение ко всему фактически установленному, к общественным приличиям, к общественному положению. Отсюда, наконец, возможность фактического сожительства всего бесконечного разнообразия не клеящихся друг с другом явлений. Англия — страна всякого рода контрастов: богатства и бедности, утонченности и грубости, свободы и стеснений, независимости и подобострастия, поэзии и прозы, высоких нравственных стремлений и самого узкого эгоизма, широкого образования и поразительного скудоумия. И все эти контрасты не сглаживаются и не сливаются в одно гармоническое целое, а связываются только тем, что все они выросли из одной почвы и являются отпрыском общего корня — своеобразного английского духа.

В ноябре я поехал в Париж и там поселился на всю зиму. Я усердно принялся за изучение французской администрации, читал книги, регламенты, часто ходил на судебные заседания Государственного совета; посещал также суды, в особенности же старался знакомиться с людьми, от которых мог получить какие-нибудь сведения. В эту зиму в Париже у меня завелось знакомство обширное и интересное, особенно в кругу орлеанистов. Из всей разнообразной массы людей различных народностей, с которыми мне на моем веку доводилось сходиться, образованный француз старого времени был для меня самым приятным собеседником. Тонкость и подвижность ума, изящество форм, общительность характера, определенность мысли при отсутствии всякой резкости и с постоянным сохранением уважения к чужому мнению, все это делало из разговора живой обмен мыслей, всегда

занимательный, а нередко и поучительный. Самая физиономия старых французов, их подвижные, хотя часто неправильные черты, тонкое и умное выражение, были для меня чрезвычайно привлекательны. Я даже удивлялся иногда, отчего у молодого поколения, даже между выдающимися людьми, нет таких лиц.

Старика Пасси я знал уже прежде, но теперь сошелся с ним ближе. У нас завязалась даже переписка, которая продолжалась до самой его смерти. Он любил вступать в сношения с молодыми русскими учеными, полагая, что присоединение славянских элементов к кругу сил, работающих для науки, может открыть человеческой мысли новые горизонты. Множество его писем сохраняются у меня. Это был образец старика, который на склоне лет достиг ясного и спокойного созерцания. Не смущаясь мировыми переворотами, он смотрел на них, как мудрец, с высоты вынесенного из науки и жизни философского взгляда. Либерал по убеждениям, он не жалел о прошлом, не возмущался настоящим, а старался без гнева и пристрастия постигнуть смысл событий, вытекающий из данных общественных условий. Как наблюдатель, он с некоторым недоверием смотрел на будущее. Господствующая в больших городах Франции среди рабочей массы ненависть к богатым казалась ему камнем преткновения для упрочения демократии. Глубокий знаток экономического быта, бывший трижды министром финансов при Людовике-Филиппе, он хорошо понимал, как административные, так и политические вопросы. Его книга об образах правления свидетельствует и об основательном знании истории которую он считал единственною твердою опорою для правильных политических взглядов. При таких данных разговор его был чрезвычайно разнообразный и привлекательный. Он переходил от теории к практике, высказывая всегда ясные и твердые суждения, с беспристрастною оценкою людей, касаясь многого виденного им в жизни или почерпнутого из изучения истории. И это не был монолог, как у многих французов; он умел слушать так же, как и говорить. Это был спокойный обмен мыслей, в котором мудрый старец излагал плоды своей многолетней жизни, протекшей в самом центре политического и умственного движения.

Дальнейший ход событий не только не уменьшил, а скорее усилил скептический его взгляд на современное положение Европы. В 1869 году он писал мне:

«Я стар, я многое видел, и не имею к разуму человеческому бо̀льшего доверия, чем имел его канцлер Оксеншерна. Я бы хотел ошибаться, но мне кажется, что народы Европы не так скоро достигнут цели, к которой идут. Рабочие классы находятся

теперь во власти антисоциальных доктрин и страстей, и рано или поздно между ними и другими классами возгорится самая роковая борьба. То, чего они хотят — неосуществимо, и те бури, которые они вызовут своими требованиями, еще раз заставят наделить власть чрезвычайными полномочиями. Зло одно и то же как в Англии, так и во Франции и в Германии, и нельзя ожидать, чтобы из умов оно не перешло в действие. В этом заключается серьезная сторона положения. Ненависть к богатым стала преобладающим чувством в городских массах. Эта ненависть громко проявляется и теоретически облекается в самые разнообразные формы, ничего при этом не теряя в опасной своей силе; в конце концов она вызовет своего рода социальную войну, одну из тех гражданских войн которые приводят к диктатуре. Западной Европе предстоит пройти через решительный кризис; дай бог, чтобы она вышла из него более спокойной и более разумной, чем она была до сих пор. Многое мог бы я вам рассказать о современном состоянии Европы, о прогрессе социализма, о недостатке просвещения во Франции среди всех классов, о недальновидности правящих. Но времени у меня сегодня нет».

С тех пор прошло двадцать лет и зло только усилилось, и не видно из него исхода. Невежественные массы, вооруженные выборным правом, смыкаются в сплоченные ряды, хватаются за самые наивные теории, и при современной умственной анархии из среды образованных классов раздаются голоса, поддерживающие их бессмысленные притязания.

Из экономистов я продолжал видаться с Воловским и Дюнуайе, познакомился также с Мишель Шевалье, у которого бывал по вечерам. На одном из ежемесячных обедов, на которые меня приглашали довольно часто, я сошелся с Дюпон-Уайтом, с которым скоро сблизился и впоследствии вступил также в переписку. Он был тогда один из немногих, смотревших правильно на деятельность государства и не вдававшихся в одностороннее ограничение его задач. Только теперь его начинают ценить. Мы в этом отношении совершенно с ним сходились; я проповедывал в России то, что он писал в Париже. Когда вышла его книга: L'individu et l'Etat, Катков говорил, что это французский Чичерин. Но ценя его направление и еще более его разнообразный и приятный разговор, я находил в нем, однако, более тонкости, нежели силы. Политические суждения были нередко поверхностны, оценка людей далеко не всегда правильная, и вообще он производил впечатления живого, образованного и тонкого, но несколько легкого ума.

Сходясь с Дюпон-Уайтом в воззрениях на государство, я,

конечно, не мог сходиться с Лабулэ, к которому имел письмо от Ампера. Лабулэ пользовался большою репутацею; он в Collège de France читал курс, привлекавший большое стечение публики. Но в сущности, Моль был прав, называя его болтуном. Главною приманкою его чтений составляли язвительные намеки на современные порядки во Франции. При давлении императорской власти, этого рода оппозиция доставляла такое же удовольствие. как у нас пропущенная цензурою статейка, в которой можно было читать между строками. В научном же отношении, эти чтения не давали ровно ничего. В политике далее Соединенных Штатов Лабулэ не шел; идеалом его было ограничение государства чисто полицейскими обязанностями, да и то лишь настолько, насколько это не могло быть исполнено частными силами. И этот взгляд он излагал в сочинениях, похожих на карикатуры, как «Paris en Amérique» и «Le Prince Caniche». Точно так же и разговор его ограничивался разглагольствованиями о вреде государственного вмешательства и о том, что в Соединенных Штатах все отлично идет. Поучительного я мало в нем находил, а монотонный докторальный тон, вовсе не свойственный французам, нагонял на меня скуку.

Несравненно сильнейшее впечатление произвели на меня старые корифеи орлеанской партии, в особенности Тьер. Он всегда принимал меня чрезвычайно любезно, и я часто бывал у него по вечерам. Это был самый блестящий ум, какой мне доводилось встречать, и что замечательно, это именно был блеск ума, а не остроумия. Речь его лилась непринужденным и неудержимым потоком самого разнообразного содержания. Всякий вопрос его воодушевлял, и все, что он говорил, было сильно, метко, живо и картинно. Всякое слово било в цель и поражало слушателя. Этот маленький старичек, с довольно пошлою наружностью, с тонким и хриплым голосом, с фамильярными жестами, как бы вцеплялся в своего собеседника, который оставался совершенно очарован сверкающим перед его глазами изумительным фейерверком. Иногда он расспрашивал и всегда точно и умно, но большею частью это был монолог. Нужно было только завести его и уметь вставить слово возражения или ответа, и тогда уже не было удержу; оставалось только слушать и наслаждаться. Когда он, беседуя однажды о Людовике-Филиппе, сказал мне, что король был чрезвычайно умен, но любил всегда говорить и не давал другому произнести слово, я понял, что эти два человека никогда не могли ужиться вместе: каждый хотел говорить один. Эта страсть говорить у Тьера проявлялась иногда в довольно забавной форме. Однажды я прихожу вечером и застаю его дремлющим

у камина. Я сел возле него и сделал какой-то вопрос. Он тотчас воодушевился и начал сперва тихо, а потом все более и более возвышая голос. Вдруг его теща мадам Досн, которая в доме всем распоряжалась, резко его остановила: «Вы знаете, что вам запрещено говорить». Оказалось, что у него были пятна в горле и доктор наложил запрет на разговор. Тьер с грустным видом замолк, и разговор продолжался без него. Но через несколько минут он не выдержал, и снова возвратился к прежней теме, опять сначала вполголоса, потом все более воодушевляясь. Теще опять пришлось его укрощать, и он с отчаянием сел; но, наконец, он окончательно закусил удила: речь полилась потоком, и он только махал рукою на тещу, чтобы та оставила его в покое.

Случалось, что он хотел произвести эффект, но это назначалось только для новых лиц, которых он сразу хотел чем-нибудь поразить. В первый же вечер, когда я явился в его гостиную. он, чтобы попытать меня, отпустил мне фразу, которую я несколько лет спустя, встретил в одной из его речей в Законодательном Корпусе: «Франция — генеральный штаб, Англия — муниципий». Произнеся это изречение, он остановился, чтобы посмотреть, какое оно на меня произведет впечатление, и что я на это скажу. Я отвечал, что для водворения свободы мало одного генерального штаба; необходимы муниципальные добродетели. При дальнейшем знакомстве такие заранее обдуманные эффекты уже не повторялись. В сущности, ему не зачем было к ним прибегать. Эффекты производились сами собой, игрою этого необыкновенного ума, который с одинакою легкостью выражал свои суждения то в точно определенной мысли, то в картинном образе или сравнении. Последние бывали иногда поразительны. Одно мне особенно памятно и имеет некоторый исторический интерес. В 1870 году, за несколько месяцев до франко-прусской войны, я посетил Париж. Тьер в то время был в трауре по своей теще и принимал в маленьких аппартаментах небольшой круг друзей и знакомых. Я удостоился быть принятым в это число. Это была пора пробуждения либеральных идей, которым уступало само императорское правительство. Эмиль Оливье был тогда на вершине своей славы; все за ним ухаживали, и сам Тьер хлопотал о принятии его в Академию. Я пошел в Законодательный Корпус и там слышал речь Оливье. Он сделал на меня впечатление легкомысленного человека, хотя Дюпон-Уайт уверял, что он стòит и Тьера и Гизо. Вечером у Тьера я спросил его: «Что такое Оливье?» — «Вот видите, — отвечал он, — в Ницце есть деревья, которые в очень короткое время вырастают на огромную вышину. Я вижу дерево, которое толще меня; ветви в толщину моей руки. Я спра-

шиваю: сколько ему лет? говорят: девять. Я подхожу, трогаю его палкою, палка туда уходит; оно как масло». События слишком скоро доказали верность этого изображения.

С тех пор я Тьера не видал, но с величайшим сочувствием следил за его патриотическою деятельностью для восстановления разгромленной Франции. Это был патриот в истинном смысле слова: выше и дороже Франции для него не было ничего на свете. Когда его свергли, я написал ему письмо, где говорил, что считаю это действие преступлением против отечества. Он прислал мне ответ, в котором излагал свои убеждения. Помещаю его здесь, как любопытный памятник великого человека и как воспоминание его дружеского ко мне расположения.

«Париж. 12 августа 1876 г.

Дорогой Чичерин, я очень запаздываю своим ответом, но вы меня простите, если примете во внимание несоответствие между временем, которым я располагаю, и тем, что мне приходилось выполнить. Не то, чтобы я отдавал политике все свое время; бывает конечно и так; когда на меня возложено бремя государственных дел, я отдаю себя этим делам до того, что забываю о жизни. но когда бремя это переносится на других, я оставляю его на них целиком, и не из эгоизма, а из уважения к лежащей на них ответственности. Дай бог, чтобы это им удалось, дай бог ради нас и ради всего мира. Избавившись от правительственных забот, я посвящаю науке все то время, которое мне оставляют мои обязанности депутата. Ваш beau-frère, человек очень просвещенный, очень интересный, занимающий здесь хорошее положение, расскажет вам обо мне, так как я видаю его часто и всегда с удовольствием; он знает, что я весь ушел в свою работу и не являюсь помехой для тех, на кого возложена обязанность действовать. Ваше письмо доставило мне бесконечное удовольствие. Я чрезвычайно счастлив, что вы вспоминаете обо мне и с таким дружественным чувством. Вы свидетель как близкий, так и далекий моей продолжительной и трудолюбивой жизни и вы имели возможность судить об искренности и о постоянстве моих чувств. Вполне чистосердечно я стремился к установлению конституционной монархии. Я родился в доброй чиновничьей семье, вступившей в родственные связи с семьей богатых коммерсантов еще до Французской революции, я воспитывался в лицеях Первой Империи и ничто не отвращало меня от либеральной монархии; наоборот, все связывало меня с ней, как мои родители, так и мое образование, наполовину военное, наполовину либеральное, наконец самый мой характер. Я бы принял ее от Карла X, от Людовика Филиппа, наконец даже от самого Наполеона III. Но эти

три государя с намерениями несомненно хорошими, но с печальным ослеплением сделали все, чтобы помешать ее успеху. Истинный принцип либеральной монархии состоит в том, чтобы государь стушевывался и давал представителям власти возможность следовать за настроением страны. Но все эти государи хотели управлять согласно собственному вдохновению, несомненно с добрыми намерениями, однако, они делали это так, что оскорбляли все национальные чувства. Карл X, защищая религию, как он ее понимал, Людовик Филипп, желая сделать приятное Европе, поддержки которой он добивался, Наполеон III, придавая себе аллюры своего славного дяди, все они упорствовали и противодействовали склонностям страны и упорствовали до тех пор, пока не вызвали непреодолимого сопротивления. Результатом было троекратное падение монархии, после чего новая попытка установления монархии стала уже невозможной. Нужно было видеть положение, каким оно создалось в Бордо, для того, чтобы понять до какой степени напрашивалась та линия поведения, которой я держался. Ко мне обратились потому, что иначе нельзя было действовать. Ройялисты меня не любили, будучи убеждены в том, что я не буду их пассивным орудием. Либералы относились ко мне с сочувствием, однако испытывали некоторые опасения в виду прежних моих монархических тенденций, и все меня терпели, готовые меня покинуть, если я уклонюсь в сторону одной из трех партий, стоявших друг против друга. Я не располагал ни одним солдатом, ни одной копейкой денег, перед лицом восьмисот тысяч чужеземных солдат хозяев на французской земле. Так мне и пришлось управлять, сохраняя равновесие между всеми партиями, из которых ни одна не поддерживала меня искренно. Я раздавил бешеное восстание, овладевшее столицей при страшной вооруженной силе, я избавился от пруссаков посредством обязательства, заключенного на основании финансовых операций, не имевших прецедента и, наконец, восстановил немного порядка и много доверия. Видя меня на деле, республиканская партия прониклась ко мне доверием и стала меня поддерживать, но ройялисты, бессильные, яростно нападали на меня. Я не мешал им говорить и действовать и занялся исключительно освобождением территории. Но добившись этого избавления, я должен был припереть к стене три монархические партии, требуя от них, чтобы они или признали республику, которую я считал единственно возможной государственной формой, или же сами установили монархию, если считали возможным сделать такую попытку. Они избрали этот последний путь, и я предоставил им свободу действия. Они покрыли себя позором и доказали всецело,

что в настоящее время невозможно ни что иное, как только республика.

И сейчас положение продолжает быть трудным в стране, принявшей республиканскую форму правления, при правительстве, ненавидящем республику. Из этого противоречия вытекают печальные дергания, которые, быть может, со временем приведут к серьезной опасности. Но при разумном ведении дела можно будет из этого положения выйти. Необходимо прежде всего, как можно дольше сохранить мир. Ваш император, которого во Франции глубоко почитают, хочет мира, и он прав. Но симпатии к славянам несколько беспокоят Европу, которая пришла бы в настоящее отчаяние, увидя, что мир подвергается опасности со стороны агитаторов на Востоке. Поверьте мне, мир нужен всем и будьте уверены, что несмотря на наши несчастья не нам он более всего нужен; сохраним его с достоинством все.

Я пространно изливаюсь перед вами, как перед старым другом и будьте уверены, что я всецело разделяю дружественное чувство, с которым вы ко мне относитесь. Вы очень бы меня осчастливили, если бы посетили нас. Я еду на три месяца в Швейцарию и буду занят продолжением своей книги. Если бы вам пришла счастливая фантазия побродить по Европе, я был бы счастлив побеседовать с вами обо всей вселенной, не меньше. Прощайте, прощайте.

А. Тьер».

История строго осудит тех людей, которые вместо того, чтобы сомкнуться вокруг единственного человека, способного возродить Францию после ужаснейшего разгрома и дать ей подобающее ей место в ряду европейских держав, низвергли его в виду стоявшего еще в стране неприятеля, и сами, запутавшись в своих темных интригах, принуждены были сделать собственными руками то, против чего они восставали. Надобно сказать, что большинство старых орлеанистов, Дюфор, Ремюза, Одилон Барро, Дювержье де Горанн, даже близкий друг орлеанской семьи Монталиве, последовали за Тьером. В этих людях любовь к отечеству стояла выше интересов партии и личных связей. Направленные против Тьера козни были делом измельчавшего под императорским правительством молодого поколения, с герцогом де Броль во главе, за которым скрывался тайный зачинщик всех интриг, граф Парижский.

Я знавал некоторых из этих орлеанистов прежнего времени: Одилона Барро, у которого я обедал с Кузеном и Рейбо; старого знаменитого герцога де Броль, пожелавшего узнать от меня о

ходе освобождения крестьян в России; Баранта, Минье, Дювержье де Горанн, который принимал по вечерам. Последний в особенности в резких выражениях отзывался о современном императорском правлении. «Нами управляют лакеи!» — говорил он мне с негодованием. Понятно, как этим старым парламентским борцам горько было видеть господствующее раболепство и унижение народа, за которые впоследствии так дорого поплатились французы. Несколько раз я был и у Гизо. На всех этих людей я смотрел с глубоким уважением. Даже в Гизо, который лично был мне всех менее симпатичен, я видел крупного представителя либерального времени, великого историка и великого оратора.

С другой стороны, я видался и с республиканцами. У Тьера я познакомился с Бартелеми-Сент-Илером, про которого Тьер говорил: «Хорошо бы, если бы все республиканцы были как Сент-Илер; это — ангел, сшедший с небес». Основательный ученый, хотя невысокого ума, он в сущности не был политическим человеком. Я возобновил знакомство и с двумя принадлежавшими к республиканской партии французами, которые были на съезде в Глазго, с Демарэ и Гарнье-Пажесом. С первым, в особенности, я довольно часто видался в Париже. Хороший адвокат, бывший bàtonnier [1], он был человек с живым и тонким умом и весьма обходительный. Его весьма неглупая жена умела говорить о политических вопросах так просто и здраво при твердости убеждений, как редко встречается у женщин. Но добрейший и честнейший Гарнье-Пажес, некогда член временного правительства и министр финансов в 1848 году, был чистый ребенок, как признавали и его друзья. При этом он воображал, что он популярнейший человек во Франции. Это было республиканское простосердечие во всей своей наивности. Через этих господ я познакомился и с другими, бывал на вечерних собраниях у Карно, где в небольшом кругу обсуждались современные политические вопросы. Уже в то время я был убежден, что империя продержится недолго, и что за нею последует республика; я даже высказывал это Сент-Илеру. Но я не мог не видеть, что люди, принадлежавшие к республиканской партии, гораздо низшего калибра нежели старые орлеанисты, которые представляли высший цвет французского ума и образования. Республика водворилась во Франции не вследствие обилия собственных сил, а вследствие несостоятельности прежних правлений. Она явилась неподготовленною и упрочилась, не столько волею людей, сколько силою обстоятельств, не допускавших ничего другого. Поэтому, когда вымерло старое поколение орлеанистов, общий уровень значительно понизился.

---

[1] Старшина адвокатского сословия.

Я посещал и некоторые светские салоны, но должен сказать, что единственный приятный салон такого рода, в котором мне случалось быть, держался русскою дамой, графиней Сиркур, рожденной Хлюстиной. Она была в то время вся больная, вследствие нечаянного ожога и принимала в известные часы, иногда утром, иногда вечером, сидя в креслах и положив голову на подушку. К ней стекались и светские люди, и ученые и литераторы. Она со всяким умела говорить и всякого вызывать на разговор. У нее это было даже особенное искусство. Разговор ее не был непринужденным обменом мыслей, вызванным минутным впечатлением или общими интересами. Поговоривши с одним о том. что его занимало, она в миг с тем же вниманием обращалась к другому и переходила на новую тему. Говорили даже, что она всякий раз к разговорам готовится. Но так как это делалось, умно, с тактом, и знанием людей, то в итоге все выходило ладно и приятно. Муж ее был человек недалекого ума, но образованный, много читавший. Он уверял, что француженки, весьма приятные в прежнее время, сделались невыносимо скучны вследствие того, что они воспитываются монахами. В других салонах, где я иногда бывал, у герцогини де Роган, приятельницы г-жи Сиркур, у Бульe, действительно царила непроходимая скука. Вместо общего разговора была только суета и толкотня, часто беспрестанно приезжали и уезжали. Правду сказать, в то время для общего разговора было мало пищи. Для умственного оживления гостиных необходима живая окружающая атмосфера, а в ту пору во Франции не было ни умственного движения, ни политической жизни. Последняя была подавлена императорским деспотизмом, а первое заглохло под влиянием получившего преобладания реализма. Я ходил иногда в Законодательный Корпус, но слышал только ничтожные прения раболепного собрания. Грустно было видеть нисшедшую с прежней высоты французскую трибуну. К сожалению, мне не довелось слышать ни Тьера, ни Фавра. О первом я мог составить себе некоторое понятие по его разговорам; последнего же я слышал раз уже несколько лет спустя, да и то не в палате, а на публичной лекции, которую он читал. Я был им совершенно очарован. Содержание лекции было пустое, но голос, приемы и дикция были поразительно художественны. Я говорил, что после Рашели не видал ничего подобного.

За недостатком политического красноречия все стекались слушать академические речи. Мне удалось попасть на знаменитый прием Лакордера в Французскую Акедемию. Надобно было стоять у входных дверей с семи часов утра в ожидании открытия залы, и затем сидеть в страшной тесноте. Но все это вознагра-

ждалось впечатлением собрания, в то время еще полного знаменитостей. Я слышал важную, исполненную мысли, речь принимающего Гизо, и пламенную речь облеченного в свой монашеский костюм Лакордера, по бокам которого, как восприемники, сидели Беррье и Монталамбер.

Не могу не упомянуть и об умилительном знакомстве в мире художества, которое довелось мне сделать в Париже. От хранителя Берлинского музея, Ваагена я имел письмо к одному старому французскому художнику Перену, которого Вааген просил показать мне замечательные рисунки другого, уже умершего художника, Орселя. Перен принял меня самым ласковым образом, и я скоро сблизился с его семьей. Это был образец самых чистых и возвышенных сторон французского быта. Семейное согласие было полное, доброта непомерная, и вся жизнь наполнялась и облагораживалась любовью к идеальному, религиозному искусству. Но всего трогательнее была сохраняющаяся, как святыня, память об умершем друге, Орселе. Перен и Орсель вместе учились у Герена, вместе жили в Италии, вместе работали и проводили всю жизнь. Председатель лондонского общества художеств, Чарльз Истлек, который знал их в молодости, говорил мне, что это был самый удивительный пример дружбы, какой он встречал в жизни. Когда с одним из друзей случалось какое-нибудь горе, другой, хотя бы он был в отдаленной стране и занят работою, тотчас все бросал и ехал его утешать. Орсель действительно был человек с замечательным талантом; но и Перен не был лишен дарования. Им обоим заказаны были фрески в Нотр-Дам де Лоретт; Орсель писал одну капеллу, а Перен другую. Но Орсель умер, не докончив своей работы. Тогда Перен бросил свою, докончил капеллу друга и с тех пор посвятил себя исключительно изданию его произведений. Когда я с ним познакомился, прошло уже десять лет со времени смерти Орселя; но вся семья была полна воспоминаниями о нем. Перен говорил об умершем друге постоянно со слезами на глазах. В длинные вечера, которые я у него проводил, он все показывал мне рисунки Орселя, которыми я не мог не любоваться: до такой степени все было чисто, возвышенно и изящно, все строго обдумано и глубоко изучено. Это была манера Овербека, но без немецкой претенциозности и в несравненно более художественной форме. Я, как драгоценную память, храню подаренный мне Переном альбом с исполненными им и его учениками гравюрами этих рисунков.

Я часто виделся в Париже и с пребывающими там русскими, с Тургеневым, с Ханыковым, с Н. И. Тургеневым, который, давно выселившись из отечества и имея в Париже свой дом, продолжал

живо интересоваться Россией и русскими. Видался я и с князем П. В. Долгоруким, который в то время также выехал из России и не подвергался еще опозорившему его приговору. Однажды Тургенев пригласил нас с Ханыковым обедать к Вефуру, сказавши, что его звал Долгорукий, и он просит нас притти на подмогу. Мы пошли; Долгорукий на этот раз держал себя скромно и обед вышел оживленный.

Это нам так понравилось, что Тургенев тут же предложил собираться раз в неделю. Скоро, однако, Долгорукий своими резкими выходками, лишенными всякого серьезного основания, так нам надоел, что мы стали его избегать и ходили уже обедать втроем. Я, впрочем, остался ему благодарен за то, что он ввел меня во многие парижские гостиные, которых он был тогда усердным посетителем. Между прочим, он повез меня к Тьеру.

19 февраля 1861 года телеграф принес нам из отечества великую весть: русский народ был свободен! Для России наступала новая пора, для которой все мы работали, которую мы так страстно ожидали. В тот же день вся наша компания собралась на обед, на котором был и пребывавший в Париже декабрист князь С. Г. Волконский. От полноты души подняли мы бокалы за государя, освободителя миллионов русских людей. Вскоре мне пришлось написать статью об этом преобразовании. Мой приятель Демаре задумал издавать маленький журнал: «La critique française», который служил, впрочем, больше для собственного его развлечения и просуществовал очень недолго. Он просил у меня статьи и я воспользовался этим случаем, чтобы изложить весь ход освобождения крестьян. В отдельных оттисках я разослал эту статью всем своим парижским знакомым.

В апреле приехал и сам главный двигатель в этой реформе, Н. А. Милютин, совершенно счастливый и довольный тем, что после долгой и упорной работы вырвался наконец на свободу. Мы видались почти каждый день; я с любопытством слушал его рассказы; мы ходили вместе в судебные заседания Государственного совета, ездили навещать В. П. Боткина, который в это время приехал больной из Италии и поселился в окрестностях Парижа. Но уже приближался срок моего возвращения на родину. Мне очень хотелось пробыть еще лето во Франции. Некоторые из моих знакомых, между прочим граф Кергорлэ, приятель Токвиля, звали меня в деревню погостить и посмотреть на провинциальные порядки. Это было бы драгоценным дополнением к сведениям, приобретенным в Париже. Но время уже не позволяло мне воспользоваться этими приглашениями. Я был выбран Советом Московского университета исправляющим

должность экстраординарного профессора по кафедре государственного права и с осени должен был начать свой курс, а у меня еще ничего не было готово. Я хотел посвятить этому лето, живя в деревне и пользуясь полным досугом. В конце мая я распростился с милым Парижем, оставившим во мне столько хороших воспоминаний, и приехал прямо в Караул.

Я возвращался на родину после трехлетнего путешествия с богатым запасом новых сведений и впечатлений. Европа дала мне все, что могла дать. Я собственными глазами видел высшее, что произвело человечество, в науке, в искусстве, в государственной и общественной жизни. И я не мог не убедиться, что все это бесконечно превосходило то, что я оставил в своем отечестве. Это не был своеобразный, отмеченный особою печатью мир, противоположный России, как уверяли славянофилы. Нет, в противоположность однообразной русской жизни, вылитой в один тип, где на монотонном сером фоне незатронутой просвещением массы и повального общественного раболепства, кой-где мелькали огоньки мысли и просвещения, я находил тут изумительное богатство идей и форм; я видел разные народы, каждый с своим особенным характером и стремлениями, которые, не отрекаясь от себя, но при постоянном взаимнодействии с другими, совокупными усилиями вырабатывали плоды общей цивилизации. Еще менее я мог заметить признаки мира разлагающегося. Напротив, рядом с отживающими формами я видел зарождение новых, свежих сил, исполненных веры в будущее. Эти силы были еще неустроены; впереди предстояло им еще много борьбы, усилий, может быть временно попятных шагов и разочарований. Но цель была намечена, и веющее повсюду могучее дыхание мысли и свободы обеспечивало успех. Глядя на Европу, невозможно было сомневаться в прогрессивном движении человечества.

Но вместе с тем я глубоко чувствовал, что вся эта раскрывающаяся передо мною в таком блеске Европа, со всем изумительным богатством явлений, были мне чужды и что я всем моим существом принадлежу своей однообразной, убогой, погруженной в мрак невежества родине, которая одна затрогивала самые заветные струны моего сердца. «Все чужое мне до смерти надоело, — писал я брату еще зимою. — Ни за что бы я не пошел в дипломатическую карьеру. Не презирать отечество с высоты европейского просвещения, а усвоить для него плоды этого просвещения и, может быть, вложить в него свою лепту, распространить в родной земле хотя бы неслышными и незаметными путями добытые человечеством умственные блага, сеять на тучной, но необработанной русской ниве взрощенные Европой

семена мысли и свободы, такова была задача, которую я себе поставил, такова была отныне цель моей деятельности. Европой я мог любоваться, но жить и действовать я мог только в России. Насмотревшись чудес, познакомившись с европейской жизнью и с людьми, я мог уже с полным сознанием и с созревшею мыслью посвятить себя на служение отечеству в новую, открывшуюся для него историческую эпоху. «Ах, пора в Россию, — писал я брату перед отъездом из Франции. — Прошедший год был для меня не бесполезен и я не жалею, что съездил. Для образования это нужно. Но уже мне заграничная жизнь решительно надоела по горло. От безделья просто не знаешь, куда деваться, а работать в путешествии невозможно. Засяду же я после этого дома и уже ничем меня не выживут».

Письмо Пасси Б. Н. Чичерину 1869 г.

„Je suis vieux, j'ai beaucoup vu et je n'ai pas dans la raison humaine plus de confiance, que n'en avait le chancelier Oxenstiern. Je désire me tromper; mais il me semble que les nations de l'Europe n'atteindront pas de sitôt le but vers lequel elles marchent. Les classes cuvrières subissent aujourd'hui l'empire de doctrines et de passions antisociales, et tôt ou tard s'engagera entre elles et les autres classes une lutte des plus fatales. Ce qu'elles veulent est irréalisable et les orages que leurs prétentions feront éclater, contraindront encore une fois à armer le pouvoir de moyens d'action ecessifs. Le mal est le même en Angleterre, en France, en Allemagne, et il est difficile que des esprits il ne passe pas dans les actes. Ici est le coté serieux de la situation. La haine du riche est devenue le sentiment dominant chez les masses urbaines, cette haine s'est hautement déclarée et revet théoriquement les formes les plus variés, mais sans rien perdre de sa dangereuse énergie, et elle entrainera à la fin une espèce de guerre sociale, une de ces guerres intestines qui enfantent les dictatures. L'Europe occidentale aura évidemment à traverser une crise décisive et Dieu veuille qu'elle en sorte plus calme et plus sage qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. J'aurais beaucoup à vous dire sur la situation presente du monde europêen, sur les progrès du socialisme sur le défaut en France de lumiéres dans toutes les classes, sur l'imprévoyance des gouvernants. Le temps me manque aujourd'hui".

Письмо Тьера Б. Н. Чичерину

Paris, 12 Août 1876.

Mon cher monsieur Tchitcherine, je suis bien en retard avec vous, mais vous me le pardonnerez en considération de la disproportion de mon tem[p]s avec ce que j'ai à faire, non que je donne touts mes moments à la politique; je n'y manque

pas, quand je suis chargé des affaires publiques, je m'y applique jusqu'à oublier d vivre, mais quand la charge passe à d'autres, je la leur laisse toute entière non par égoisme, mais par respect pour leur responsabilité. Di u veuille qu'ils s'en tirent. Dieu le veuille pour nous et pour tout le monde. Débarassé des soins du gouvernement, je donne à la science tout le temps qu me laissent m s fonctions de député. Votre beau-frère, homme trés éclairé, très attachant, qui a ici une bonne position, vous donnera de mes nouvelles, car je le vois souvent, toujours avec plaisir, et il sait que tout à mes travaux, je gêne peu ceux qui sont chargés d'agir. J'ai reçu votre lettre avec un plaisir infini. Je suis charmé d'apprendre que vous vous souvenez de moi, et avec des sentiments si affectueux. Vous avez vu de près ou de loin une partie de ma longue et laborieuse vie et vous avez pu juger de la sincérité, de la constance de mes sentiments. De très bonne foi, j'ai desiré et poursuivi l'établissement de la monarchie constitutionnelle. Né dans une famille de bons magistrats, alliée à une famille commerciale riche avant la révolution française, élevé dans les lycées du premier empire, rien ne m'éloignait de la monarchie libérale, tout m'y rattachait au contraire, mes parents, mon éducation à la fois militaire et liberale, ma nature enfin. Je l'aurais acceptée de Charles dix, de Louis-Philippe, de Napoléon III lui même. Mais ces trois princes avec de bonnes intentions sans doute, mais avec un aveuglement déplorable, ont tout fait pour l'empêcher de réussir. Le principe vrai de la monarchie libérale, c'est que le prince s'efface pour laisser les agents du pouvoir suivre les inspirations du pays. Mais tous, ils ont voulu gouverner selon leur propre inspiration, avec bonne intention sans doute, mais de manière à froisser touts les instincts nationaux. Charles dix pour défendre la religion selon lui, Louis-Philippe pour plaire à l'Europe dont il voulait obtenir le suffrage, Napoléon III pour se donner quelque allure de son glorieux oncle, se sont obstinés à contra... les penchants du pays et obstinés jusqu'à provoquer des résistances insurmontables. Il en est resulté trois chutes de monarchies, après lesquelles un nouvel essai de monarchie etait impossible. Il faut avoir vu la situation à Bordaux pour se figurer à quel point était commandée par les circonstances la conduite que j'ai tenue. On s'est adressé à moi parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Les royalistes ne m'aimaient pas parce qu'ils étaient convaincus que je ne serais jamais leur instrum nt passif. L s libéraux avaient des sympathies, mais d s craintes pour mes dispositions anciennement monarchiques, et tous m'ont subi,

prêts, à se détacher si je penchais vers l'un des trois partis en présence. Je n'avais ni un soldat, ni un écu en présence de huit cent mille soldats étrangers, maîtres du sol de la France. Il m'a fallu gouverner ainsi, en me tenant en équilibre entre touts les partis, dont pas un ne me soutenait franchement. J'ai écrasé une insurrection furieuse, maitresse d'une capitale formidablement armée, je me suis débarassé des Prussiens en tenant un engagement au moyen d'opérations financières qui n'avaient pas de précèdents et enfin j'ai rétabli un peu d'ordre et beaucoup de confiance. En me voyant à l'oeuvre, le parti republicain a pris confiance et m'a soutenu, mais les royalistes impuissants m'ont attaqué avec fureur. Je les ai laissé dire et faire et ne me suis occupé que de la libération du territoire. Mais cette libération obtenue, j'ai du mettre au pied du mur les trois partis monarchiques en les sommant, ou d'accepter la république que je croyais seule possible, ou de faire eux mêmes la monarchiė, s'ils croyaient pouvoir le tenter. Ils ont préfèré ce dernier parti et je leur ai laissé le champ libre. Ils s'y sont couverts de confusion et ont rendu complête la démonstration, qu'il n'y avait de possible actuellement que la république.

Aujourd'hui la situation ne laisse pas que d'être difficile entre un pays qui a accepté la forme rèpublicaine et un gouvernement qui dèteste la république. Il en rèsulte des tiraillements fâcheux qui pourront même provoquer un jour de vrais dangers. Avec de la sagesse on pourra s'en tirer. Il faut surtout autant qu'on pourra conserver la paix. Votre empereur, profondèment respecté en France, veut la paix et il a raison. Mais les sympathies slaves inquiètent un peu l'Europe, qui verrait avec un vrai désespoir la paix compromise par les agitateurs orientaux. Croyez moi, tout le monde a besoin de la paix, et soyez persuadé que malgré nos malheurs nous ne sommes pas ceux à qui elle est le plus nécessaire, conservons la tous avec dignité.

Je m'épanche longuement avec vous comme avec un vieil ami et soyez persuadé que je vous rends toute entière l'amitié que vous voulez bien me porter. Vous me rendriez bien heureux si vous veniez nous voir. Je vais passer trois mois en Suisse occupé à continuer mon livre. S'il vous prenait l'heureuse fantaisie de courir un peu l'Europe, je serais charmé de causer avec vous de l'univers tout entier, pas moins. Adieu, adieu.

A. Thiers.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Катков Михаил Никифирович (1818—1887), публицист, издатель „Русского Вестника", первоначально умеренный либерал, з падник-англ⌐ман, с 1863 г. занял резко „охранительную" реакцио ную позицию; в руководимой им газете „Московские ведомости" в 1870 80-х гг. он был на стороне всех реакционных мероприятий Д. Толстого и Победоносцева — 54, 65, 116.

Каченовский Дмитрий Иванович (1827—1872), профессор Ха ьковского университета по кафедре международного права, защищал докторскую диссертацию в 1855 г. в Москве, и сблизился здесь с кр жком западников, 1858 — 1859 гг. провел за границей для ознакомления с политической жизнью и наукой Западной Европы — 53, 54. 63, 70, 72, 90.

Кергорлэ (Kergorlay) Жан-Флориа -Эове (1803 — 1873), член Закон дательного корпуса, а роном, или Луи-Габриэль-Севар (1804—1880), горнопромышленник — 125.

Кетчер Николай Христофорович (1809 — 1886), врач, переводчик Шекспира, приятель Герцена, Грановского и других людей 40-х годов — 54, 56.

Кирхгоф (Kirchhof) Густав-Роберт (1824—1887), знамени ый физик, профессор в Бреславле (1850 1854) и Гейдельберге (1854 — 1874), член Берлинской академии, вместе с Бунзеном создатель спектрального анализа — 88.

Киселев Павел Дмитриевич, граф (1788 — 1872), первый министр государственных имуществ г и Николае I, п сол в Париже (1856 — 1862) — 45, 46.

Кларендон (Clarendon) Джорж Вильерс, лорд (1800—1870), английский государственный деятель, министр иностранных дел во время Восточной войны 1854 — 1856 гг. — 105.

Клиффорд, церемониймейстер палаты лордов, — 105.

Клиффорд, помощник церемониймейстера палаты лордов, сын предыдущего — 105.

Кобден (Cobden) Ричард (1804—1865), английский государственный деятель, руководитель движения в пользу отмены хлебных законов (1838 — 1846 и пропагандист идей свободной торговли, всеобщего мира и вечной дружбы между народами, член парламента, инициатор предложений о разрешении международных споров третейским судом (1849) и о взаимном сокращении вооружений (1851) — 107.

Констан де Ребеки (Constant de de Rebecque) Бенжамен (1767 — 1839), известный французский писатель и государственный деятель, писатель по вопросам конституции и истории религии, автор психологического романа „Адольф" — 72.

Константин Николаевич, великий князь (1827 — 1892). генерал-адмирал, брат Александра II и главный пособник его реформ в первые годы ца ствования — 46, 48.

Корменен (Cormenin) Луи-Марк де ла Гэ, виконт (1788 — 1868), французский юрист и политический деятель, оппозиционный публицист при Людовике-Филиппе, вице-президент учредительного собрания 1848 г., потом член Гос. совета — 71.

Корреджио (Correggio) Антонио Аллегри (1494 — 1534), знаменитый итальянский живописец — 84.

Корриди, итальянский профессор — 83.

Корш Евгений Федорович (1810 — 1897), журналист — 70.

Кузен (Cousin) Виктор (1792 — 1867), французский философ-эклектик и историк, минис р народного просвещения (1840) — 71, 121.

Куломзин Анатолий Николаевич (1838 — 1924), государственный дея ель и сторик-финансист, управляющий делами Комитета минист ов (1883 — 1902), член (1902 г.) и председа ель (1915 — 1916) Гос. совета 104.

Кювье (Cuvier) Жорж (1769 — 1832), знаменитый французский естествоиспытатель — 30.

Лабулэ (Lefebvre de Laboulaye) Эдуард-Рене Лефевр (1811 — 1883). французский ученый, публицист и политический деятель, профессор сравнительного правоведения в Collège